Библиотека журнала ЛОГОС



Виктор Мазин
Александр Погребняк



Библиотека
журнала
ЛОГОС


ЩА!
ПОИГРАЙ СО МНОЙ...

Виктор Мазин
Александр Погребняк

НЕЗНАЙКА И КОСМОС КАПИТАЛИЗМА

С иллюстрациями
Ирены Куксенайте

Издательство
Института Гайдара
МОСКВА
2016

ББК 60.5
УДК 316.4
М12

Составитель серии В. В. Анашвили

Мазин, В., Погребняк, А.
М12 Незнайка и космос капитализма. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. — 320 с.: ил. — (Библиотека журнала «Логос»).
ISBN 978-5-93255-464-7

Психоаналитик Виктор Мазин, философ Александр Погребняк и художница Ирена Куксенайте (все — жители Санкт-Петербурга) решили публично признаться в своей страсти к циклу о Незнайке замечательного и далеко не только детского писателя Николая Носова. На этот шаг их толкнуло твердое убеждение, что в образе Незнайки, его интеллектуальной контркомпетентности и моральной антисостоятельности, заключен ресурс, столь необходимый всем нам сегодня для выживания в космосе, подчиненном логике современного капитализма, — а уже завтра, возможно, он окажется полезен и для изживания этой чудовищной проекции технонауки и административно-менеджериального безумия! Читателю предлагается вновь совершить захватывающие и поучительные путешествия в Солнечный город и на Луну, занимаясь попутно психоанализом, философией, критикой политической экономии и другими жизненно важными практиками осмысления реалий сегодняшней российской и мировой действительности.

ISBN 978-5-93255-464-7

СОДЕРЖАНИЕ


ОН МОЙ!
НЕТ, НАШ!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель! Сами не зная почему, но начать эту книгу мы хотели бы цитатой не из Носова, что было бы естественно, а из совсем другого — тоже, правда, такого недетского в своей официальной «детскости» — писателя. Мы имеем в виду замечательного рассказчика из журналов «Костер» и «Мурзилка» Виктора Голявкина, у которого есть один совсем небольшой рассказ, и пусть он послужит эпиграфом нашей совместной книге:

МЫ БЕСПОКОИМСЯ ЗА ПАПУ В 2000 ГОДУ

Папа пошел выпить пива на Марс и что-то там задержался. В это время случилось несчастье. Пес Тузик съел небо, которое постирала мама и вывесила сушиться на гвоздь. Пес Тузик надулся, как детский шарик, и захотел улететь. Но он не смог этого сделать, потому что не было неба.

— Как же вернется наш папа, — сказала мама, — раз неба нет?..

— Действительно, как он вернется? — сказал я.

— Ха-ха-ха-ха! — сказал папа в дверях. — Ха-ха-ха!

— Какой дорогой вернулся ты? — удивилась мама.

— Ха-ха-ха! — сказал папа. — Я пьяный, я не знаю, какой дорогой.

Конечно, кто только не пытался из века двадцатого заглянуть в век двадцать первый! И тревога за будущее, уже не такое далекое, тоже вряд ли оригинальна. И все-таки, Голявкин «гениально угадал», как любил приговаривать Ленин, изучая диалектику Гегеля, *именно такое* положение вещей: не что-то под небом или в небе, а *само небо* оказалось в наши «нулевые» постирано и проглочено (приватизация-пролетаризация, слияние-сливание, угощение-поглощение, трейдерство-рейдерство и мало ли какие еще формы «эффективного управления», в силу чего «улететь» никому и никуда более не представляется возможным!) — и всё что нам остается, это беспокоиться о судьбе тех, кто в своей беспечности отправился попить пива на Марс. Или это не всё? «Нет, не всё!» — как бы говорит нам Голявкин, утверждая свой «принцип надежды»: они, наши беспечные «папы», обязательно вернутся, пусть даже — а точнее, именно потому что — *сами не знают как*.

Возвращению Незнайки мы и хотели бы в меру наших скромных возможностей посодействовать этой книжкой. Кто он, Незнайка, сегодня, в 2016 году? Многие жители Земли о нем сегодня даже слыхом не слыхивали, и нам бы хотелось донести кое-что до их ушей. Что, например? Ну, хотя бы любовь Незнайки к путешествиям, познанию, дружбе. Как известно, не что иное, как *гуманитарное* зна-

ние вызывает во времена лунного капитализма особую ненависть: «дружба», «забота», «совесть» и всё из разряда того, что не удается формализовать и выразить в «точных величинах». Зачем нужно то, что ни взвесить, ни измерить, ни присвоить? Нет поэтому в лунном аду людей страшнее Гегеля и Малевича, Гоголя и Платонова, Лакана и Деррида. Они ведь то и дело говорят о несоизмеримом и неприсваиваемом. Даже Гитлер и Сталин для многих лунатиков в такой ситуации оказываются людьми честными, в то время как Гегель и Малевич — мошенники, типа Миги и Жулио. И поэтому знание их — неподлинное, вообще не знание, а так, в лучшем случае лирика, а то и вовсе чушь какая-то! А кого считают сегодня достопочтимым членом общества? Конечно, господина Спрутса и других участников Форума Большого Бредлама! Они ведь честно грабят коротышек, законно присваивая миллиарды (и, как вы помните, именно на них работают настоящие Мига и Жулио!), а вот ограбленные не могут вызывать ни уважения, ни восхищения — сами виноваты, раз не знают «основ бизнеса», «сетевого маркетинга» и тому подобной «физики-мизики». Чего уж тут на Тузика пенять?

Мы в своей книге настаиваем на честности Гегеля и Малевича, Гоголя и Платонова — Незнайки и... да-да, даже Знайки, хотя в его адрес порой будет звучать суровая критика!

И мы надеемся, что наш читатель, встречая сегодня на улицах Санкт-Петербурга, или Москвы, или еще какого-нибудь отечественного или зарубежного Сан-Комарика или Лос-Поганоса, очередного *честного коротышку* (служащего после работы, изобретателя, пенсионера, астронома, гастарбайтера, бомжа...), обязательно вспомнит о том неизбежном *незнании*, которое является оборотной стороной капиталистического «ноу-хау»: «Не знаю, как дотянуть до получки», «не представляю, как рассчитаться с долгами», «ума не приложу, как не потерять место», «не могу поступить, как умный лунатик — взять в банке кредит и тут же купить справку о своей смерти», «не имею понятия ни о каких „Мертвых душах“» — Носов проницательно доводит до предела эту «дурную бесконечность» незнания: «ох, не знаю, как бы не попасть в итоге на Дурацкий остров».

Наша цель — показать, что именно *незнание — сила*! И Незнайка есть тот, кто выступает во всеоружии нашего общего незнания, которое должно повсеместно противостоять всякому частному, отчужденному, экспертному, эксклюзивному «знанию» сильных (до поры до времени) мира сего. Вот почему мы просим не удивляться читателя тому, что наш по определению легкомысленный герой выступает в столь тяжелом вооружении: здесь вам и диалектика, и негативная теология, и марксизм

с неомарксизмом, и психоанализ с критической теорией (список можно продолжить) — короче, все то, что вытесняется господскими означающими неопозитивизма, не признается университетским дискурсом и третируется «здравым смыслом».

* * *

И — немного о предыстории этой книги. Как-то мы встретились в катакомбах университетского филфака, где размещался тогда отдел кадров — видимо, нужно было подписать какую-то очередную весьма ответственную бумагу, вот только мы сами не знали какую (о, великий призрак некомпетентности!) — и вдруг нас обоих осенило, что мы просто одержимы Незнайкой! Спасибо катакомбам университета и обитающим там лунатикам!

Мы тут же вспомнили, что у нас уже есть кое-какие наброски — и вот, спустя пару месяцев, наш друг и коллега Данила Расков организовал на факультете свободных искусств и наук (в рамках семинара «Центра исследований экономической культуры») конференцию «„Незнайка на Луне“ Николая Носова как путеводитель по капиталистической культуре». 18 апреля 2013 года на этой конференции мы выступили с докладами — а кроме нас, сообщения сделали еще Олеся Туркина и Данила Расков. Два наших доклада, «Не с Луны свалился я» Виктора Мазина и «Незнайка, или Истина

коммунизма. Введение» Александра Погребняка были затем опубликованы в журнале *Кабинет III. Картины мира V* (СПб.: Скифия, 2014). А спустя год, 24–25 октября 2014 года, в Пулковской обсерватории и на факультете свободных искусств и наук, прошла организованная Олесей Туркиной международная конференция «Наблюдатель», где Александр Погребняк выступил с докладом «Космос как предмет незнания: От Николая Кузанского до Николая Носова», который был опубликован в *Кабинет III. Картины мира VI* (СПб.: Скифия, 2015).

Спустя какое-то время Наталье Шапкиной, прослушавшей эти выступления и прочитавшей наши публикации в *Кабинете*, пришла в голову мысль о том, что мы могли бы написать книгу о Незнайке. Идея нам понравилась, но мы не знали, нужна ли кому-то сегодня такая книга. Идея теплилась всего несколько месяцев, как вдруг московский философ и издатель Валерий Анашвили, посетивший очередной семинар «Центра исследований экономической культуры», за ужином сказал, что, мол, было бы здорово, если бы вдруг появилась книга о Незнайке. Поскольку шутка нам понравилась, мы улыбнулись и ответили: «Есть такая книга!» Нет, конечно, мы тоже пошутили — ее не было, но зато было нешуточное желание вновь прикоснуться к любимым сочинениям Николая Николаевича Носова и продолжать писать о Незнайке!

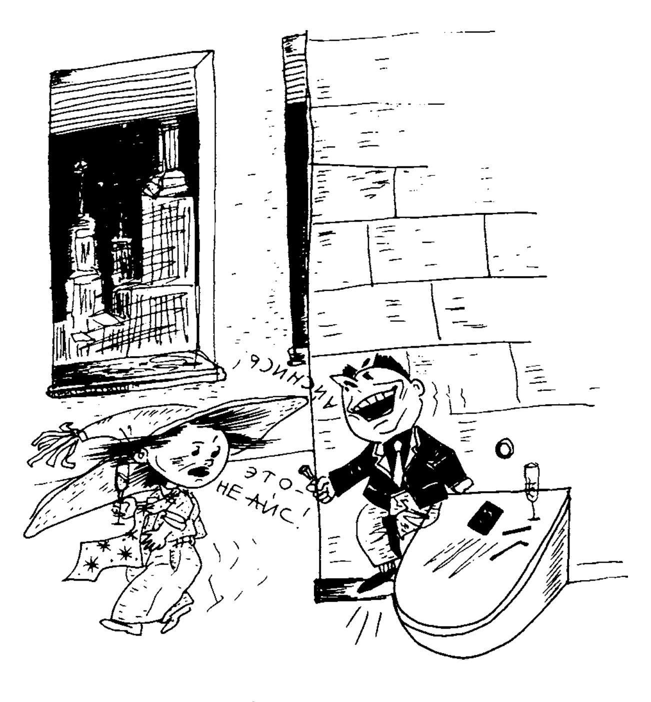
Во время работы над книгой к нашей общей радости к нам присоединилась Ирена Куксенайте, художница, которая с первого дня вошла в круг друзей Незнайки, названный журналом *Кабинет*. Ирена не только делала рисунки для журнала и писала статьи, но именно ее изображение Незнайки в гермошлеме и скафандре стало логотипом *Кабинета*. И по сей день этот образ, этот тип паралогии встречает читателей на авантитуле.

Заключая предисловие, мы должны сказать, что книга двух авторов в данном случае выглядит как то, что в мире музыкальных пластинок принято называть *split album*, в данном случае — что-то вроде двух авторов под одной обложкой. Нам представляется весьма важным то, что мы, конечно, были хорошо знакомы с выступлениями друг друга и с текстами, опубликованными в *Кабинете*, но вот с нашими частями этой книги, дорогой читатель, нет… мы их не оговаривали, не обсуждали, не распределяли «роли», не пользовались бормотографом. Мы вот что решили: если наши тексты движутся параллельно, то это — замечательно, если они пересекаются, то это — прекрасно, если они разбегаются в разных направлениях, то это — чудесно, если мы приходим к одним и тем же суждениям, то это — удивительно, если же мы оказываемся перед лицом совершенно разных толкований, то — тем еще интересней. Нам, таким образом, еще предстоит стать читателя-

ми друг друга. И, надеемся, вам, дорогие неведомые друзья-лунатики, тоже. И у вас, кстати, даже есть выбор: оказаться в одном тексте, или в другом, или — между ними, или ограничиться просмотром иллюстраций. Или даже бросить все и пойти читать «Незнайку на Луне».

Виктор Мазин,
Александр Погребняк
Санкт-Петербург,
март 2016 года

ВРЕМЕНА
НЕЗНАЙКИ НА ЛУНЕ



ДОКТОР АЙСБЕРГ

ГЛАВА 1
ТРАВМА НЕПРИЗНАНИЯ

«Незнайка на Луне» предписывает биографию, в том числе и по причине отвержения этой книги первой учительницей.— Вопрос «Ты что, с Луны свалился?» предписывает внесуществование.— Эмпирика и Эмпиреи.— Профессор Фрейд и профессор Звездочкин о теории и практике.— Нехватка, или Не-всё тут.

Думаю, и вам нередко встречаются люди, которые говорят, что одно дело полной жизнью жить, другое — книги читать. Книгочеи, они как бы не совсем живут. Глядя на книжные полки, жизнелюбы не видят жизни. Мертвая бумага, мертвые буквы, мертвые слова. Даже индийский гуру однажды меня убеждал, что чтение Нагарджуны не имеет ни малейшего отношения к жизни. Отчасти сторонники чистой эмпирики правы, но не совсем. Я, конечно, согласен с тем, что одно дело читать Жюля Верна, другое — самому погружаться в океанские глубины. Но глубины океана после погружения в глубины книги, и глубины океана без чтения — разные глубины, — и здесь мое одно-единственное, но, думаю, существенное возражение противникам книгочтения: никакого непосредственного доступа к океанским глубинам нет.

Нет эмпирики без эмпирей. С книгой ли, без нее, а вне теории никакого погружения нет, и потому можно сказать, что книга все равно есть, даже если кто-то ее в руках не держал, а таких людей нам видеть доводилось. В общем, я клоню к тому, что книга — тоже жизнь. И не обязательно в том смысле, что жизнь априори вписана в Книгу Бытия.

Книга прописывает биографию, причем порой так, что биография превращается в био-библио-графию и, согласимся отчасти с противниками книжного знания, в био-библио-танато-графию, ведь вторжение «танато-» тоже, скорее, от Книги. Так или иначе, а три тома приключений Незнайки прописали мое воспитание, формирование, образование, короче говоря, они стали моим *Bildungsroman*. Особенно запоминающимся оказался третий том, «Незнайка на Луне». В общем, моя биография была бы, думаю, совсем иной, если бы не эта книга. А вот стала бы она столь значимой, не случись у меня с ней травматичной истории, этого мне, конечно, не узнать. Возможно, именно травма вывела на первый план третий том приключений. Вполне возможно, что в течение так сказать всей жизни я отстаиваю книгу «Незнайка на Луне» еще и по той причине, что доказываю ее великое значение своей первой учительнице.

Вот какая, собственно говоря, травматичная история приключилась. В первом классе учи-

тельница попросила каждого учащегося принести на урок внеклассного чтения свою любимую книгу*. Я был в восторге от этой затеи. Мы будем читать любимые книги! Я смогу разделить свою любовь с одноклассниками!

И вот с «Незнайкой на Луне» в портфеле я бегу в школу. И вот долгожданный урок. И вот очередь доходит до меня. И вот я объявляю свою любимую книгу...

...До меня не сразу доходят слова учительницы: «Эту книгу мы читать не будем. Она нам не подходит»... Этого не может быть... Так не бывает... Ведь еще Листик из Солнечного города говорил не просто об удовольствии от чтения, но о необходимости им делиться с другими коротышками. Удовольствие поддерживается через другого. Разве не так?

Теперь я, конечно, могу учительницу понять, но, впрочем, не оправдать. Да, действительно, «Незнайка на Луне» — книга серьезная, можно даже сказать, она представляет собой фундаментальный университетский труд, посвященный критике капиталистического дискурса, и в этом отношении она вовсе не детская, со-

* Кстати, история эта, скорее всего, приключилась ие в первом, а во втором классе, а может быть, даже и в третьем. В первый класс я пошел в 1964 году, тогда же, когда была принята луниая пилотируемая программа СССР, а книга Николая Носова «Незиайка иа Луне» увидела свет в 1965-м. Первый том приключеиий вышел до моего рождения, в 1954 году, а путешествие в Солнечный город появилось вместе со мной, в 1958-м. — *В. М.*

всем не для первого класса, кто-то ошибся, написав на ней, что она предназначена «для детей младшего школьного возраста»*. И начинается она сразу с вопроса о времени и его относительности для людей больших и маленьких. Вот они, эти самые первые строки:

> С тех пор как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло два с половиной года. Хотя для нас с вами это не так уж много, но для маленьких коротышек два с половиной года — срок очень большой [1, с. 5]**.

Время учительницы и мое не совпадали. В своем времени она, вероятно, была права, но в моем я был отвергнут. Если вы объявляете мою любимую книгу вне внеклассного чтения, то и я вместе с ней тоже оказываюсь *вне, вне* вашего класса. Внешний я человек, внесуществующий, как сказал бы Лакан. Типа с Луны свалился. Мы пребываем с учительницей в разных временны́х интервалах. Таков один из уроков урока внеклассного чтения.

* С тех пор, похоже, многое изменилось. Изменились дети, взрослые, отношения между поколениями, оценки возраста н способностей понимания. Так, например, если в издании 1969 года (3-й том собр. соч. Носова) было написано «для младшего и среднего возраста» (а в издании 1993 года — «для младшего школьного возраста»), то в переиздании 2015 года (издательство «Эксмо») — «для среднего школьного возраста».

** Незиайка уже во время путешествия в Солнечный город ощутил, что «для маленьких время тянется гораздо медленнее, чем для больших» [2, с. 281].

Сколько раз мне предстояло в жизни слышать этот вопрос: «Ты что, с Луны свалился?!» Его задавала мама, учителя и даже друзья. Обычно вопрос этот означает, что человек не знает самых простых вещей. А кто вам, скажите, пожалуйста, разъяснил, что они простые? А кто утвердил, что данность дана, и всё тут? В духе того же Лакана, можно сказать: не-всё тут. Нет, не всё. Или даже: да не-всё тут, не-всё *Dasein*.

«Ты что, с Луны свалился?!» — так могла сказать из своего времени учительница. Свалился? Падение, даже если и мгновенное, связано со временем. Лакан, рассуждая об экспериментальной науке, которая определяется вводимой в реальное мерой, называет часы Гюйгенса «органом, реализующим гипотезу Галилея о гравитации тел, т. е. о равномерном ускорении, которое, будучи всегда одним и тем же, определяет закон всякого падения» [49, с. 56]. Лакан вообще нередко говорит о небесах, Луне и звездах, ведь он уверен, что именно с наблюдения за небом, звездами, созвездиями берет начало человеческая наука. Падение с Луны, впрочем, относится не столько к научному знанию, сколько к интерсубъективному времени, учреждающему порядок между людьми, в том числе, между учителями и учениками. Даже если ученики поют прямо на уроке *The lunatic is in my head, The lunatic is in my head*.

Да, вполне возможно, учительница была права. Недетское это дело рассуждать о вре-

мени, теории и практике, эмпирике и эмпиреях. Впрочем, почему бы не почитать *сейчас*, пока есть время, о том, что будет понятно *потом*, лет через двадцать благодаря профессору Фрейду. О чем почитать? Ну, скажем, о полемике двух ученых, Знайки и профессора Звездочкина. Профессор в восторге:

> — Вы, мой друг, великий ученый! Вам принадлежит честь открытия не только лунита, но и антилунита: так я и предлагаю назвать это новое вещество.
> — Вещество это, однако, еще не открыто, — возразил Знайка.
> — Открыто, мой дорогой, открыто! — закричал Звездочкин. — Вы открыли антилунит, так сказать, теоретически. Нам остается только практически доказать его существование. Так ведь делались многие открытия в науке. Теория всегда освещает путь практике. Без этого она ничего не стоила бы! [1, с. 429]

С профессором Звездочкиным соглашаются и профессор Лакан, говорящий, что «условия науки не могут быть созданы эмпиризмом» [45, с. 149]*, и профессор Фрейд, которому весьма близка мысль о невозможности чисто эмпирического знания:

* Говоря о «состоянии знания», Лакан утверждает: самое главное — «знать, что та или иная теория считает в подобном опыте подлинным» — в энтузиазме Платона, в ступенях самадхи в буддизме или в переживаниях, вызванных приемом галлюциногенов.

— Уже при описании нельзя не применить к материалу некоторые абстрактные идеи, которые берутся, конечно, не только из нового опыта <...> об их значении договариваются, постоянно ссылаясь на эмпирический материал, из которого они вроде бы берутся, но который на самом деле им подчиняется [73, с. 86].

Вот и получается, что теория не только освещает путь практике, но и подчиняет ее; так сказать, освещая, подчиняет. Как ни печально, но и это тоже плоды просвещения, равно как и культ факта. Эмпирический факт — не что иное, как фетиш, поддерживаемый верой и правдой поклонения. Ладно, никак нам не развести в стороны теорию и практику, и об этом отдельный разговор, но не в этот раз. В этот раз — *не-всё*; и мы переносимся на долгие годы вперед.


БРАТЕЦ, ЭТО ЖЕ Я — СЕЛЕДОЧКА!
ОБА НА!

ГЛАВА 2
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: ОБРЕТЕНИЕ ДРУЗЕЙ НЕЗНАЙКИ В ЖУРНАЛЕ «КАБИНЕТ»

Незнайка во времена перестройки объединяет друзей вокруг журнала «Кабинет». — Незнайка вместе с Лаканом успокаивают знанием, которое всегда остается не-всем. — Лиотар рассказывает о нарративном незнании. — Фигура Незнайки проглядывает сквозь дискурс. — Сознание Незнайки и пробуждение совести.

С тех пор как первая учительница отвергла Незнайку, прошло двадцать пять лет, срок весьма значительный не только для коротышек. И двадцать пять лет — не двадцать пять равных отрезков. Время разгонялось. Оно приобретало ускорение; к тому же, как всем известно, «когда чем-нибудь занят, время течет быстрее» [1, с. 412]. И вот, размышляя над искусством переходного периода, известного как перестройка, мы решили с друзьями основать журнал. Журнал для себя, журнал для друзей. А что нас объединяло? Интерес к современному искусству в самом широком контексте и жажда его понимания, для которого не хватало слов. Широкий контекст нашего безудержного познания включал критическую теорию,

поэзию, философию, психоанализ, шизоанализ, психиатрию, семиотику, лингвистику, этнологию и многое другое. Новое время требовало нового искусства, а новое искусство — нового понимания. Горизонты расширялись, и росла опасность того, что времени на понимание не хватит никогда. Чтобы хоть что-нибудь в этом времени понимать, нужно было из него выпадать. Тут-то и возник призрак вечно выпадающего Незнайки и успокоил всех: «Ну, не страшно, что вы даже не знаете того, чего не знаете. Это — то самое не-знание, которое поддерживает поиск знания».

Призрак Незнайки, конечно, был не только литературным героем, но и представителем нарративного знания, которое для научного знания, есть незнание. У фантазера Незнайки с точки зрения науки вечно все получается шиворот-навыворот. Бюрократические стандарты и позитивистские таблицы университетского дискурса не для его вольного духа. Он выпадает.

Наше обращение к Незнайке, этому «мастеру присочинить», было поддержано той мыслью Жан-Франсуа Лиотара, согласно которой, по крайней мере со времен Платона, научное знание «не может узнать и продемонстрировать свою истинность, если не будет прибегать к другому знанию — рассказу, являющемуся для него незнанием» [52, с. 74]. Так нам стало понятно, что одним из выходов из пространства

университетского дискурса является *нарративное незнание.*

Кстати, обращение к Жан-Франсуа Лиотару в связи с Незнайкой никак не случайно. Именно его теории постсовременности послужили одним из дискурсивных оснований того самого журнала «для себя, для друзей», о котором идет сейчас рассказ. В 1993 году по приглашению журнала к нам приехал Жан-Франсуа Лиотар и получил в подарок небольшую книгу с переводами его текстов на русский язык. Книгу мы издали в качестве приложения к журналу тиражом девяносто девять экземпляров, которые роздали друзьям. На авантитуле летал логотип — Незнайка. Жан-Франсуа, конечно же, заинтересовался им. Что это за тип предваряет его статьи? Что это за сочетание дискурса и фигуры? Разумеется, мы достаточно подробно рассказали об агенте нарративного незнания, коротышке по имени Незнайка, прилетающем в космическом корабле, построенном под руководством Знайки, из коммунистического Цветочного города на капиталистическую Луну, чтобы своим настойчивым незнанием подрывать идеологические устои местных порядков, а точнее, — беспорядков. То, что является для лунных коротышек данностью, Незнайке не дано. Не-всё тут!

Кстати, об этом *не-всём.* В своем знаменитом катабасисе, книге «Толкование сновидений», Фрейд пишет, что самое сложное при объясне-

нии принципов психоаналитического толкования, — это мысль о том, что задача никогда не будет выполнена полностью. Сколько ни старайся, а *всего* не получишь. Сколько ни усердствуй, а выйдет *не-всё*. Впрочем, Незнайке это и объяснять не нужно. Он понимает профессора Фрейда с полуслова.

Возможно, самым главным в этой нашей затее с журналом оказалось то, что все его сотрудники, Ирена Куксенайте, Тимур Новиков, Сергей Бугаев Африка, Олеся Туркина и я, — были символическими детьми Незнайки. Понятно, что каждый из нас любил в детстве еще и другие книги, но «Незнайка на Луне» занимал у каждого из нас на полке совершенно особое место и, главное, особенное место в памяти. Если моя первая учительница оказалась противницей такого нарративного незнания, то друзья по журналу с детства были восторженными поклонниками героя книги Николая Николаевича Носова. Кстати, раз уж мне вновь вспомнилась травматичная сцена урока внеклассного чтения, то стоит предположить, что ситуация тогда могла сложиться следующим образом: учительница пробежала глазами по первым абзацам, прочитала об архитектурных преобразованиях в Цветочном городе и о начавшейся там масштабной индустриализации, дошла до промышленных предприятий, фабрики по производству разнообразной одежды, «начиная с резиновых лифчиков» [1, с. 6],

и решила, что это — очень странная книга для самых маленьких.

Вернемся к журналу. Он был назван «Кабинет», и Незнайка сразу же стал его логотипом. И мы не с Луны свалились, хотя, конечно, кому-то так покажется, в первую очередь, пожалуй, тому, кто не сумел понять коллегу Звездочкина, представителя, между прочим, университетского дискурса. Можно сказать, тогда в самом начале 1990 года, мы готовы были в ответ на все тише звучащий призыв *Ленин — Партия — Комсомол*! воскликнуть *Незнайка — Дружба — Кабинет*! Тем более что и в книге есть эпизод, когда лунатик Клюква, глядя на Незнайку и Козлика, признает: «Смотрите, братцы, значит, есть дружба на свете!» [1, с. 399].

Что, кстати, значит, — Незнайка стал логотипом «Кабинета»? — спросите вы. В каком смысле «логотипом»? Отпечатком слова, — ответим мы. А кто-то добавит: оттиском образа. Незнайка — тип оттиска, отпечаток не-знания. Он представляет нам ту мысль Лиотара, согласно которой дискурс и фигура соприсутствуют в любой репрезентации, но при этом остаются несоизмеримыми друг другу и несводимыми друг к другу. Кстати, о фигуре Незнайки. Она нам хорошо известна не только по описанию Николая Носова, но и благодаря иллюстрациям Генриха Валька. Незнайку отличает широкополая шляпа, из-под которой выбиваются резкие пряди волос, брюки, рубашечка с

закатанными рукавами и галстук. Коротышки Цветочного города узнают его издалека, ведь одежда его бросается в глаза своими экстравагантными цветами — желтыми, канареечными брюками, оранжевой рубашкой, зеленым галстуком и голубой шляпой. Будем мы обращать внимание на всю эту пестроту, или не будем, — не важно, а важно то, повторим еще раз, что фигура эта не сводима к дискурсу, она оказывается всегда уже ему внеположенной, откуда мысль Лиотара о подрыве дискурсивного фигуральным; и даже по одной этой причине дискурс не может замкнуться, не может не стать не-всем. Фигура как бы торчит из дискурса, или, скажем, из него выбивается голубая шляпа. Видимое выглядывает из читаемого. Такова фигура речи. Истина при этом «обнаруживается не в порядке познания, она встречается в его беспорядке как событие» [82, с. 135]. Фигура разрывает дискурс, Незнайка совершает прорыв. Его явление — Событие.

Впрочем, для логотипа нашего журнала была выбрана другая фигура Незнайки, скажем, более технологическая — космическая, в скафандре и гермошлеме. Главное, однако, то, что Незнайка — фигура дискурса, основанная на отрицании. Можно сказать, он отрицает знание, а можно, что возвращает фигуру вытесненного знания, делая ее достоянием со-знания. Того знания, которое предполагает, как сказал бы Лакан и *другого* с маленькой буквы,

и *Другого* с буквы большой. Сознание оказывается *всегда уже* совместным, разделенным, интерсубъективным. Похоже, об этом нам тоже говорит его имя — Незнайка.

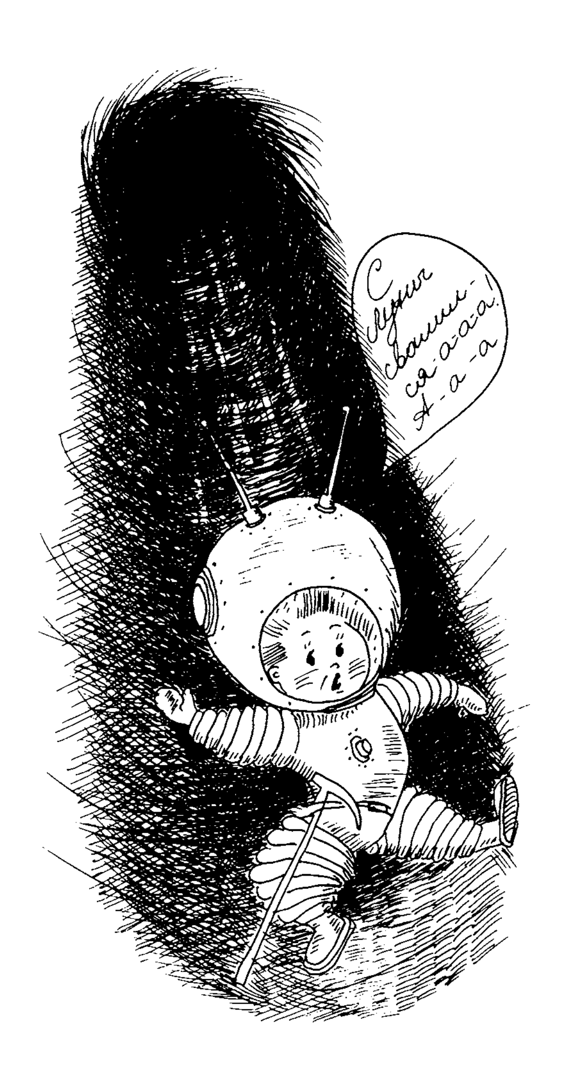
Здесь, в связи с сознанием Незнайки, уместно вспомнить историю, произошедшую с ним во время путешествия в Солнечный город; историю которую можно назвать «Пробуждение совести». Начинается она с того, что Незнайка с помощью волшебной палочки превращает одного коротышку, кстати, невероятного любителя книг, в осла. Эпизод этот, кажется, не оставляет в сознании Незнайки никакого следа. Однако, когда он, лежа в номере гостиницы «Мальвазия», слушает сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке, превратившегося в козленочка, бессознательное восстает, совесть пробуждается. Такое с Незнайкой происходит впервые: «Он мысленно разговаривал сам с собой, и от этого ему казалось, что с ним разговаривает какой-то находящийся внутри него голос» [2, с. 283]. Этот голос упрекает, обвиняет, угрожает измучить так, что жизнь сахаром не покажется. Голос приходит в ночной тиши, когда стихает дневная суета, когда не слышен шум дня. И надо же, голос этот еще и усмехается, да к тому же уверяет, что Незнайка сам свою вину знает, вот только не знает, что знает:

«Ничего я не знаю!»
«Знаешь, знаешь! От меня, братец, не скроешь!»

«А кто ты, что от тебя даже ничего не скроешь?» — насторожился Незнайка.
«Кто? — с усмешкой переспросил голос. — Будто не узнаешь? Ведь я твоя совесть» [2, с. 283].

С этого момента и до конца книги совесть то и дело будет приходить к Незнайке в ночной тиши. Он, пытаясь хоть как-то уменьшить ее давление, прибегает к разным уловкам, в том числе и к своему «говорящему имени»:

«Я не знал, что все так плохо получится».
«А почему не знал? Ты должен был знать. Почему я все знаю?» — твердила совесть.
«Ну, то — ты, а то — я. Будто не знаешь, что я — незнайка!»
«Не хитри, не хитри! — с насмешкой сказала совесть. — Ты все понимаешь прекрасно, только прикидываешься дурачком — незнайкой».
<...>
«Нет, я дурачок!» — упрямо твердил Незнайка.
«Неправда! Ты и сам не считаешь себя глупым. На самом деле ты гораздо умней, чем кажешься. Я тебя давно раскусила, поэтому и не старайся меня обмануть — все равно не поверю» [2, с. 444–445]


С Луны свалил-ся-а-а-а! А-а-а

ГЛАВА 3
ПСИХО-ТЕХНО НЕ-ЗНАЙКА ВЫВОДИТ НА СЦЕНУ ГОЛЕМА СО-ЗНАНИЯ

Незнайка как психо-техно субъект.— Смещение знания от психического регистра субъективации к технологическому.— Ракета знает и не только.— Техносфера и плоды Просвещения.— Истина, Буква, Смерть.— Истина и Знание.— Лакан, просматривая сферы, обнаруживает неучтенную алетосферу, до отвала заполненную латузами.— Микрофон помогает Незнайке, Пончику и Нилу Армстронгу оставаться в алетосфере.

НЕЗНАЙКА, не только лого-тип, но и психо-техно-тип, тот еще тип, совсем, кстати, не кабинетный, непоседа, так сказать. При этом он пролагает в «Кабинете» маршрут «Психо-Техно». Именно эти два греческих слова — ψυχή τέχνη — стали появляться на авантитуле журнала вместе с фигурой Незнайки.

Почему Незнайка — *психо*?

Потому что у него есть душа [ψυχή], о нем не скажешь, что он не одушевлен, или не одухотворен. Это понятно и первой учительнице, и кабинетным друзьям, и детишкам, и даже их родителям. Он пока еще живет в воображении немалого множества коротышек.

Почему Незнайка — *техно*?

Не потому что он устремлен к техническим изобретениям, подобно Винтику и Шпунтику, а потому что одержим бессознательным влечением к познанию, скорее художественному, чем научному. Его метод, если о таковом можно говорить, это — искусство [τέχνη]. К тому же понятно, что сам он продукт техники, воображения писателя и художника. Да и три тома его приключений — плод Просвещения, производное университетского дискурса. Без технопрогресса, модернизации, индустриализации здесь никак не обойтись. Девиз таков: «У кого ума достаточно, тому и волшебная палочка не нужна» [2, с. 492]. Приключения Незнайки связаны с невероятным множеством техногаджетов, этих, как называл их Фрейд, человеческих протезов. Незнайка обитатель *техносферы*, и у себя на Земле, и на Луне. В земном путешествии в Солнечный город он встречается с великим множеством научно-технических объектов. «У Незнайки, который страшно интересовался разными машинами и механизмами, разбегались глаза» [2, с. 263]. Еще бы им не разбегаться!

В Солнечном городе он знакомится с мотоциклами на резиновых гусеницах; реактивными роликовыми труболётами; спиралеходами; автоматическими кнопочными такси, управляемым ультразвуковым локаторным устройством; прыгающей, плавающей и летающей машиной; солнечными батареями, преобразующими све-

товую энергию в электрическую, накапливаемую в аккумуляторах; комбайнами, работающими на электромагнитной энергии и управляемыми на расстоянии через зеркальные шаровидные экраны телевизионных передатчиков; машинами рассказывания сказок с зеркалом-экраном для их показа; управляемой дистанционным пультом сельскохозяйственной машиной «Радилярия»; новейшим усовершенствованным пешеходным радиолокатором (НУПРЛ) для защиты от ветрогонов; усовершенствованными шкафами-пылесосами и подметающей машиной «Кибернетика» в гостиничном номере; экранами, с которых малышка-администратор полностью автоматизированной гостиницы «Мальвазия» приветствует посетителей; пятьюдесятью двумя шаровидными телеэкранами наблюдения за городскими перекрестками в отделении милиции*; шахматными автоматами, снабженными электровычислительными устройствами и магнитофонной лентой; автоматическими навигаторами в автомобилях; вращающимися домами архитектора Вертибутылкина и домами архитектора Арбузи-

* Кстати о милицин в Солнечном городе. Поскольку там никто не нарушает законов, и каждый поступает с другими так, как хочет, чтобы поступали с ним, то еднственная обязанность служителей правопорядка — иногда регулировать движение автотранспорта. Вот бы Джон Кейдж порадовался, ведь для него только в этом и заключена необходнмость государства вообще; если же государство даже с этим не в состояннн н не в желании справнться, тогда Незнайке здесь делать нечего.

ка, сделанными из прессованной пенорезины, гидрофобного картона, синтетического пластилина, пенопластмассы и светящегося пенофеногороха; универсальными круговыми самоходными комбайнами, каждый из которых идентифицирован не номером, а именем собственным, отмечающим его сингулярный, а не серийный характер — Эксцентрида, Циркулина, Рондоза, Орбита, Вертушка, Планетарка и другие.

В путешествии на Луну Незнайка узнает: и скафандры, и гермошлемы, и радиотелефоны, и приборы невесомости, и гравитонные телескопы, и гравитонные локаторы, и целлофановые трубочки, и трубочки хлорвиниловые, и саморегулирующиеся космические духовые шкафы, и термостаты, и космические зонтики из тугоплавкого алюминия, и усовершенствованные резиновые дубинки с электрическим контактом (УРДЭК), и красные язычки, высовывающиеся из всех приборов, дабы получить сантик, и, наконец, электронную вычислительную машину. И это, конечно, далеко еще не всё. Не-всё тут!

В общем, Незнайка показывает: он — не *псюхе* [ψυχή] и не *техне* [τέχνη], а псюхе-техне, или, позволим мы себе говорить — психо-техно. Душа его искусна, а искусство [τέχνη] *всегда уже* предполагает причастность души, которая не выживает без буквы, без письма, без писателя. Мертвая, казалось бы, буква одухотворяет, — отмечает Лакан. Нет *психо* без *техно*, — напоминают Фрейд и Деррида. Более того, именно *техно*, а не *пси-*

хо теперь обладает знанием. Незнайка объясняет Пончику: «Ракета лучше тебя знает, что нужно делать. Она знает, что ей нужно лететь на Луну» [1, с. 109]. Да, интеллектом наделены приборы, откровенно те, что появятся в недалеком будущем: умные ракеты, компьютеры, программы которых как бы сами себя рекомендуют обновлять, навигаторы, айфоны, смартфоны... Кстати, умная ракета работает вот как. Она

> приобрела такой угол наклона, что в поле зрения оптического прибора, оборудованного фотоэлементом, попала Луна. Свет от Луны был преобразован фотоэлементом в электрический сигнал. Получив этот сигнал, электронная управляющая машина ввела в действие самонаводящееся устройство, в результате чего ракета, совершив несколько колебательных движений, стабилизировалась и полетела прямо к Луне. Благодаря самонаводящемуся устройству ракета, как принято говорить, оказалась нацеленной на Луну [1, с. 92].

Впрочем, в нашей истории важно, что Пончик не останавливается на перепоручении функций сознания техническому объекту, он идет еще дальше и изымает авторизацию субъекта *психо* из программы техно-ракеты. Он говорит Незнайке: «А ты за ракету не расписывайся! Ракета сама за себя отвечает» [1, с. 109]. И *не-всё* тут!

Там, где есть душа, там с ней не могут не приключаться удивительные происшествия. Она может выходить из себя, пребывать вне себя. Душа

не может не переселяться. К вопросу выхода за пределы своей орбиты мы, думаю, еще вернемся, а пока скажем, что порождение воображения способно выходить из-под контроля, превращаясь в Голема Со-Знания, в то, что исходит из знания, обретая автономию существования.

Так от Незнайки через Знайку приходим мы к автономному творению знания [τέχνη] — к Голему, одухотворенному то ли вложенным в уста Словом, то ли Словом, начертанным на лбу. Словом, которое оживило Голема, по преданию, было *истина* («эмет»). И истина эта была истиной жизни *и* смерти, искусственного *и* естественного. Стоило стереть первую букву, алеф, в «эмет», как наступала смерть, «мет». Словом, *Истина — Буква — Смерть*: таков урок Голема. И прямо во время урока раздается громоподобный голос Лакана:

> претензии духа так и остались бы неколебимыми, не сумей буква доказать, что всё, имеющее отношение к истине, производит в человеке она сама, без какого бы то ни было вмешательства со стороны духа. Откровением это было Фрейду, и открытое им он назвал бессознательным [44, с. 67].

Такова истина. Истина Незнайки и Лакана. Кстати, истина и знание, для Лакана, отнюдь не одно и то же, ведь иначе он принадлежал бы не психоаналитическому, а университетскому дискурсу. Истина — то, чего знанию не достает для *полного* осуществления. Истина ускользает; она «есть то самое, о чем знание не может узнать, знает

оно его или нет, не задействовав собственное незнание» [45, с. 152]. Знание благодаря истине пребывает в движении, оно отличается незавершенностью, неполнотой, и вопреки всем своим обещаниям, оно — *не-всё*. И разве можно было бы говорить о Знайке, не будь — даже если и в отсутствии — Незнайки?

Поле истины говорящего субъекта, то есть субъекта бессознательного — область психоанализа. И истина, напоминает Лакан, — всегда уже *не-вся*. По крайней мере, так она понимается в психоаналитическом дискурсе. Размышляя о другой истине, о научной, принадлежащей университетскому дискурсу, Лакан вводит понятие *алетосферы*. Он предостерегает:

> Здесь главное не запутаться. Алетосфера — ее можно записать. Если у вас есть с собой маленький микрофончик, считайте, что вы к ней подключены. Поразительно то, что находясь в космическом корабле, который несет вас к Марсу, вы все равно сможете к алетосфере подключиться. Более того, когда двое или трое людей отправляются погулять на Луне — поразительный структурный эффект — не случайно, поверьте мне, остаются они, совершая этот подвиг, в алетосфере [43, с. 203].

Комментарий, конечно же, весьма уместный к путешествию Незнайки и Пончика на Луну. Экспедиция двух коротышек, к слову неполного и полного, действительно производит поразительный структурный эффект в алетосфере, в этом про-

странстве — незабвенной возвращающейся — истины. И связан в данном случае этот эффект с психо-техно, или, иначе, с психо-техно-логическим подключением к шару истины, причем — с возможностью записи голоса, его сохранения, переживания им смерти своего носителя. Потому Лакан и указывает на маленький микрофончик, позволяющий оставаться на связи с миром, с миром научной истины. Голос поддерживает космос. Да, да, это не оговорка — именно космос, алетосферу, сферу, воображаемую замкнутую форму, в которой нет нехватки, никакого тебе *ни-всё*.

Кстати, писатель из Солнечного города, Смекайло, записывает свой голос и голоса других коротышек с помощью микрофона на специальный прибор, известный как бормотограф. Можно сказать, он если и выходит из алетосферы, то в фантазмосферу: «Я, так сказать, незримо отсутствовал, перенесясь воображением в другие сферы...» [2, с. 118], — сообщает он Винтику и Шпунтику.

Голос между тем, будучи не локализуемым в пространстве подобно образу, оказывается «закадровым» объектом-ориентиром. Будь то Пончик с Незнайкой, или Армстронг с Олдрином, «эти так называемые астронавты справились бы гораздо хуже, не сопровождай их все время маленькое *a* человеческого голоса» [43, с. 203]*. Объект-голос, объект *a*, вот что позволяет Незнайке и Пон-

* Лакан вспоминает о двух астронавтах 20 мая 1970 года, а Нил Армстронг с Эдвином Олдрином высадились на Луну 20 июля 1969 года.

чику оставаться в алетосфере. Не без помощи микрофончиков в гермошлемах, разумеется.

Технический объект, микрофон, воспринимает голос, преобразует звуковые колебания в электрические и распространяет их по алетосфере. Алетосфера — «место, где располагаются создания науки» [43, с. 202], сфера истины науки, недаром она встраивается в другие сферы — атмосферу, стратосферу, ионосферу, техносферу и даже дромосферу. Впрочем, важно здесь, как отмечает Лакан, не то, что наука расширяет или усовершенствует представления людей о мире, а то, что она привносит в него вещи, которых раньше не существовало, которые не даны землянам в их восприятии. Примером такого рода «вещей» служат, например, колебательные и волновые процессы, магнитные и гравитационные поля. Такова формализованная истина науки. Пространства пребывания плодов научного творчества описываются Лаканом в негативных терминах: как нематерия [*insubstance*] и как *не-вещь*, или даже как невещь что [*achose*]. Причем *невещь что* — отнюдь не невесть что. И не скажешь, что Незнайка этого не знает, но и того, что он знает, не скажешь.

Под воздействием науки и техники мир землян заполнился странными объектами, которые Лакан называет *латузами*. Эти самые латузы можно встретить «на каждом углу и в каждой витрине, кишащей предметами, призванными вызвать у вас желание <...> поскольку бал среди них правит нынче наука, рассматривайте их

как *латузы*» [43, с. 204]*. Алетосфера заполнена техно-научными объектами массового потребления, среди которых есть, разумеется, и те, в которые встроены микрофончики и которые имеют прямое отношение к голосу, а теперь — и к локализации его носителя. Пользователь такой латузы, например айфона, по определению может его прекрасно использовать по назначению, но при этом алетосфера включает в себя и незнание того, как происходит перевод голосовых колебаний в цифры, как поток цифр передается адресату. Латузы это еще и научные объекты — атомы, гравитационные волны, магнитные поля. К тому же в данном случае латузы имеют отношение ко рту и к голосу. Лакан указывает на то, что его неологизм, латуза, рифмуется с вантузом, а *ventouse* отсылает его не столько к сантехническому прибору для прочистки труб, сколько к ветру [*vent*], «ветру человеческого голоса» [43, с. 204]. Голоса, разносящегося по алетосфере, которая — не забудем о микрофончике — всегда уже медиасфера.

К этим объектам мы, вполне возможно, еще вернемся, как только речь пойдет о столкновениях Незнайки с дискурсом лунного капитализ-

* Таким образом, латузы — с одной стороны «чисто научные объекты» (волны, атом), с другой — они оборачиваются объектами потребления. Жижек подчеркивает, что наука затрагивает *реальное*, «когда она порождает новые объекты, которые являются частью нашей реальности, и в то же время взрывают ее привычные рамки: атомная бомба, клоны, типа несчастной овечки Долли» [89, p. 172].

ма, а сейчас упомянем одну сопряженную с его фигурой историю. С самого начала 1990-х годов мы отправились на поиски технологически новых форм высказывания, новых конфигураций психо-техно сочленения. Одним из результатов этого поиска стала серия аудиовизуальных медиалекций под названием «Голем Со-Знания»*. Почему речь зашла о «Големах Со-Знания»? Голем — совсем не Незнайка. Это, конечно, так, вот только содержание «Големов» строилось по мотивам «Незнайки на Луне». Мы были одержимы распространением знаний о Незнайке, особенно за рубежом. Незнайку нужно узнавать на слух! Ну и в лицо под гермошлемом знать тоже!

* Все «Големы» создавались нами, Олесей Туркиной и мной, в сотрудничестве с художниками по образу и по звуку. Художником по образу, тем, кто занимался оформлением сцены, был Владимир Тамразов, а художником по звуку — Валерий Дудкин. Когда в 2004 году Валерий Дудкин утонул, звукооформлением «Голема» занимался «новый композитор» Валерий Алахов. Первый мультимедиа Незнайка состоялся в начале девяностых на Пушкинской, 10. Следующая версия была исполнена на фестивале в Вене, затем в моравском Таборе, потом в Хельсинки на симпозиуме «Медиа и этика современной критики» и, наконец, в Этнографическом музее Петербурга. Последний «Голем» состоялся на фестивале *Art + Performance + Technology* в американском Питтсбурге в 2001 году. Один из текстов «Голема» сохранился благодаря каталогу выставки «У Предела», которая прошла в Русском музее в 1996 году. В этом каталоге опубликован текст «Голем Со-Знания-4: запуск мифогенеза» с историями Незнайки и иллюстрациями Ирены Куксенайте. Этот текст в англоязычной версии затем перекочевал на страницы академического американского издания *Cultural Studies*.



НА ЛУНЕ КАК НА ЛУНЕ

ГЛАВА 4

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:

ОРБИТЫ СУБЪЕКТА ЯКОБЫ ЗНАЮЩЕГО

Николай Федорович Федоров о самом глубоком социальном антагонизме: о делении на знающих и незнающих.— Университет университету рознь, или Различные точки пристежки.— Невесомость как техника революции.— Незнайка и гуманитарный неуч Лакана.— Знайка и Фрейд о науке, теории и фантазии.— Экспертное знание и философское незнание.— Процесс мышления Знайки и Незнайки, знание университетское и истерическое.— Не-Знайка как расщепленный субъект.— «Незнайка на Луне» как катабасис в ад подлунного капитализма.

Сам того не зная, Незнайка вел меня путем философии и психоанализа. Задним числом, разумеется, я в этом уверен, так что удивляться не стоит появлению в нашем рассказе о Незнайке то Фрейда, то Лакана. Пути философии и психоанализа, конечно, то и дело расходятся; и для начала начал как нам не вспомнить Фалеса Милетского с его растущим от знания незнанием. Для начала начал как нам не вспомнить Николая Федоровича Федорова, который мечтал о торжестве психократии над технокра-

тией*. Николай Федорович мечтал о заселении небесных тел воскрешенными землянами, и для этого нужен общий для всего человечества проект, объединяющий искусства и науки под эгидой этики. Федоров не испытывал никаких симпатий к нарождающейся на его глазах техно-науке, то есть науке, обслуживающей, как он говорил, торгово-промышленное сословие. Разделение людей на знающих и незнающих он полагал самым глубоким и несправедливым из всех разделений; и Лакан с ним соглашается, ведь положение субъекта в мире зависит от его отношения к знанию. Философия общего дела, которую всю свою жизнь строил Николай Федорович, это — письмо неученых ученым: письмо Незнайки Знайке. Да, конечно, скажете вы саркастически, будет Знайка читать письмо Незнайки!

Прежде чем мы обратимся к дискурсу Знайки, к дискурсу Университета, стоит вспомнить об одной мечте Лакана, которой не суждено было осуществиться. Нам уже доводилось подробно рассказывать о том, как Лакан мечтал отправиться с курсом лекций в страну победившего Университета, которая вывела человека на орбиту, и он впервые увидел Землю из открытого про-

* Его мечта обернулась переходом от техник биовласти к таковым психовласти. Психовласть — понятие, введенное Бернаром Стиглером для обозначения либидинальной экономики, основанной на маркетинге. Психовласть занимается администрированием поведения индивидов-потребителей, канализируя их либидо в сторону товаров, в том числе и товаров культуриндустрии.

странства [55 , с. 19–78]. В данном случае речь, конечно, идет о Юрии Гагарине, а не о Незнайке, но, как мы понимаем, связь между ними возникла отнюдь не случайно. Все они — Незнайка, Лакан, Гагарин — заинтересованы в том, чтобы преодолеть силу земного притяжения. И латуза невесомости им в помощь! Так вот, в 1968 году Лакан вспоминает, как он встретился с одним почетным членом Академии Наук СССР и сделал замечание по поводу слова «космонавт», поскольку слово это ему показалось не просто неудачным, а наименее космическим, ведь траектория полета никак не была связана с воображаемым порядком космоса [80, p. 68]*. Космос — слово, указывающее на древнегреческие представления о гармонии и порядке. Вот и получается, что, когда говорят о космосе, то подспудно речь всегда идет об *образе* космоса, о полном воображаемом порядке. В общем, одно дело открытое бесконечное пространство, другое — космос. Лакан уверен, что после открытий Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона, Гюйгенса нельзя говорить в рамках научного знания о космосе.

Теперь самое время обратиться к дискурсу Знайки. Да, конечно, он — коротышка ученый, представитель университетского дискурса, но о знании Знайки мы ничего не сможем

* По словам Элизабет Рудинеско, Лакан, когда зашел разговор о полете Гагарина, сказал Алексею Николаевичу Леонтьеву, что «космонавтов не существует, потому что нет никак космоса. Космос — это точка зрения» [84, с. 365].

сказать, «если ничего не знаем об обществе, в котором оно помещается» [52, с. 40]. Да, конечно, он — коротышка ученый, представитель университетского дискурса, но все зависит, как сказал бы Лакан, от точки пристежки, от того, к какому значению пристегивается означающее. В одном случае пристежка — коммунистическая, в другом — капиталистическая. Знайка — ученый из Цветочного города. Он, как и его коллеги, профессор Звездочкин, а также Фуксия и Селедочка из Солнечного города, конечно, представляют университетское знание, но при этом не технонаучное, не капиталистическое и не лунное. Важна здесь цель, в отличие от лунно-капиталистического акцента на средствах. Важен свободный полет мысли Знайки и его коллег из Солнечного города. Важен сам открытый процесс познания, а не создание продукта той или иной стоимости. Интересно то, что Фуксия выступает против Звездочкина, когда тот пытается утверждать, что для достижения цели все средства хороши. «Мы должны действовать прежде всего в интересах науки. Наука требует жертв», — говорит он. Мысль о принесении Незнайки в жертву науки вызывает у Фуксии подлинное возмущение: «Не будет этого! Мы сначала отправимся на поиски наших пропавших друзей, а потом можете искать ваш антилунит» [1, с. 430]. Такова этическая позиция ученой коротышки из Солнечного города.

Да, конечно, Знайка стремится к полновесному знанию, к тому, о котором уже никто не скажет, что это еще *не-всё*. Однако в отличие от оголтелых лунных ученых он далек от утверждения о реализации всего знания, абсолютного знания. Что еще за абсолютное знание? — воскликнет кто-то. И Лакан ответит, что это знание, в котором субъект якобы достигает снятия расщепления, совпадения с самим собой, то есть самоуничтожения. Абсолютное знание «не может быть не чем иным, как точкой совпадения символического с реальным» [45, с. 152]. Здесь приходит не только конец говорящему субъекту, но вместе с ним и теории как таковой. Симптомом может служить парадокс погони за инновациями, оборачивающийся потерей теоретического знания: «в современном процессе производства науки великие изобретения оплачиваются ценой все возрастающего распада теоретических образований» [77, с. 8].

Знайка борется за права теории. Воздадим ему должное. В конце концов, идея овладения силами природы и лозунг «знание — сила» может указывать на самые разные формы университетского дискурса. Как говорит Знайка:

> — Вот он, прибор невесомости! Теперь невесомость у нас в руках, и мы будем повелевать ею! [1, с. 65]*

* И действительно, именно невесомость становится главным оружием Знайки и его экипажа, прилетевшего на Луну

Овладения силами невесомости, можно сказать, оказываются в центре «Незнайки на Луне». Почему прямо-таки в центре? Да потому что они, эти силы, в конце концов ведут к революции, к коренному преобразованию лунного социального устройства. Как говорит лунный бедняк-селянин по имени Кустик:

> — Да, братцы, видать, невесомость — страшная сила. Нашим полицейским эта сила придется не по нутру! [1, с. 462]

Научная сила преодолевает государственную. На Луне, похоже, наука и полиция еще не успели слиться. Невесомость — технология революции. Только благодаря тому, что Знайка и его друзья передали лунному пролетариату, и сельскому, и промышленному, знание о невесомости, стало возможным спасительное распространение семян гигантских растений. Вместе с семенами, по распоряжению Знайки, неимущим лунатикам выдают прибор невесомости, антилунит и, главное, знание, «как всем этим пользоваться, чтоб защититься от полицейских» [1, с. 474]. Более того, силы невесомости передаются Знайкой рабочим с макаронной фабрики господина Скуперфильда*. Невесомость помогает им про-

вслед за Незнайкой и Пончиком, в борьбе с лунной полицией.

* Здесь стоит сказать о судьбе Скуперфильда, которая постигла его после совершённой Знайкой и его друзьями революции на Луне. Потеряв свое место господина и свои

гнать господ и самим заняться производством. Более того, даже качество макарон, изготовляемых в условиях невесомости, оказывается более высоким, и «многие производственные процессы протекали теперь в состоянии невесомости» [1, с. 517]*. Невесомость — научное понятие, а силы науки на стороне университетского дискурса Знайки и его друзей. Здесь стоит сказать, что некоторые лунные ученые поддержали коммунистическую науку. Так, доктор физических наук профессор Бета на лунной конференции, устроенной в телестудии, куда были в первую очередь приглашены, конечно же, полицейские, атаковавшие накануне космонавтов, говорит:

> — Дорогие друзья! Всё нами услышанное свидетельствует о том, что пришельцы с нашей соседней планеты, по всей видимости, владеют тайной невесомости <…> Наконец-то, дорогие друзья, мы с вами получили возможность вздохнуть свободно. Отныне полицейские уже не смогут угрожать нам;

капиталы, он познает красоту мира через его изучение. Все началось с того, что, работая на тестомешалке, Скуперфильд ее рационализировал. В выходные он уезжал на природу, где постепенно выучил названия всей местной флоры, и, наконец, к нему пришло озарение: «Зато теперь я знаю, что настоящие ценности — это не деньги, а вся эта красота, что вокруг нас, которую, однако, в карман не спрячешь, не съешь и в сундук не запрешь!» [1, с. 511].

* Во «Время больших перемен», а именно так называется тридцать пятая глава, рабочие с разных фабрик «приезжали к космонавтам, а вернувшись, устраивали на своих фабриках невесомость» [1, с. 507].

> они не смогут ни вешать нас, ни стрелять, ни сажать нас в тюрьму... [1, с. 467–468]*.

Тайна невесомости несет освобождение. На избавление от веса, тяжести, бремени указывает само слово, да и знание в университетском дискурсе — сила раскрепощающая. Знайка придерживается того, что Лакан называет «истиной науки», которая исходит из девиза «Продолжай! Иди вперед, к новым знаниям!» [43, с. 130]. Держись подальше от телевидения и полиции! Впрочем, продолжает рассуждать Лакан, если студенты, изучающие физические науки, вынуждены продолжать познание, то в гуманитарных науках речь, скорее, идет не о студентах, а о неучах [*astudé*]: «Слово *неуч* больше подходит для наук гуманитарных. Ученик чувствует себя *неучем*, так как он, как и всякий другой работник, должен произвести какой-то продукт» [43, с. 131]. Кто-то подумает, что мы клоним к тому, что *astudé* — перевод на французский имени Незнайка. Возможно, ведь на это указывает отрицание [*a*]. *Astudé* — тот, кто не штудирует, если позволить себе здесь легкий немецкий акцент. Впрочем, не будем предлагать Незнайке занять университетское место, даже

* А вот, что говорит репортер Болтик лунным телезрителям: «прилетевшие космонавты поделились с деревенскими жителями не только космическими семенами, но и сообщили им секрет невесомости и способы управления ею» [1, с. 471].

если и гуманитарное, даже если и *неуча*. Неуча и Незнайку, пожалуй, может отличать экологическая непроизводительность.

Между тем вся первая глава книги и отчасти вторая, — чисто научная полемика о происхождении лунных кратеров, строении Луны и возможности существования лунных коротышек. Когда Знайка доходит до мысли о жизни на Луне, он понимает, что наука не может не опираться на вымысел, и в этом отношении он не согласен с позицией профессора Звездочкина, утверждающего, что науке нужны исключительно достоверные факты, а не вымыслы и домыслы:

> Коротышки есть на Луне. Не может быть, чтоб их не было. Наука — это не одни голые факты. Наука — это фантастика... то есть... тьфу! Что это я говорю?.. Наука — это не фантастика, но наука не может существовать без фантастики. Фантазия помогает нам мыслить. Одни голые факты еще ничего не значат [1, с. 24].

С таким утверждением Знайки, конечно, соглашается профессор Фрейд. Во-первых, как уже говорилось, голые факты ничего не значат, но они *всегда уже* наделены значением, которое им не принадлежит. А чему оно принадлежит? Теории. Во-вторых, теория опирается на фантазию. По меньшей мере она начинается с фантазии, в частности с детской фантазии, призванной ответить на вопрос о собствен-

ном происхождении, предназначении и смерти. Фрейд эти детские фантазии, кстати, называет теориями. Лакану же к словам Знайки остается добавить лишь то, что истина этих и других теорий структурирована как вымысел.

Знайка — ученый, открытый фантазии. Незнайка — фантазер, выдумщик, открытый науке, но не принадлежащий научному дискурсу. Его желание — чему-нибудь научиться, но при этом ни в коем случае не учиться. За университетской партой ему не место. Станет он сидеть в аудитории и слушать какого-нибудь знайку!

Знайка и Незнайка представляют две языковые игры. Знайка представляет экспертное знание, а Незнайка — философское незнание. Ого!? — недоуменно воскликнет кто-то. Обратимся за пояснением к Жан-Франсуа Лиотару, который говорит о себе: «докладчик философ, а не эксперт. Последний знает то, что он знает и что не знает, а первый — нет. Один заключает, другой задается вопросом — и в этом-то заключаются две языковые игры» [52, с. 12–13]. Знайка знает то, что он знает, Незнайка — нет, и Лиотар — нет, и Федоров — нет, и Фрейд с Лаканом — нет. Лакан в этой связи говорит: «Разъятое знание это, в том виде, в котором мы его в бессознательном обретаем, дискурсу науки чуждо» [43, с. 112–113]. Разъятое знание — знание истерическое, принадлежащее расщепленному субъекту. Расщепленный субъект психоанализа — Не-знайка, или, без фамильярностей,

но с лакановскими Именами-Отца — Незнам Незнамович Незнайкин. Так он сам однажды представляется.

Знайка и Незнайка представляют два дискурса, точнее, пожалуй, две пары дискурсов. Знайка — дискурс господина и университета, попросту говоря, он — агент господина Университета. Незнайка — агент истерического и психоаналитического дискурса, вопрошающего и нарративного. Что значит «нарративного»? Того, что строится на рассказе, а наука, — напоминает Лиотар, «с самого начала конфликтовала с рассказами» [52, с. 9]. Незнайка же — яркий представитель мира рассказов, историй, ставка которых — Истина или Смерть, эмет или мет. Знайке этого не понять, зато как же понятно это Фрейду, которого ученые первым делом обвинили в том, что он пишет не научные трактаты, а рассказы! Он и дальше продолжал в том же духе: вместо историй болезни описывал *случаи* так, что даже те, кого не устраивали психоаналитические теории, читали их как литературные произведения. Кстати, Жан-Франсуа Лиотар высказывает весьма любопытную мысль: «сетовать на „утрату смысла" в эпоху постмодерна значит сожалеть, что знание не является в основном нарративным» [52, с. 69]. Да, конечно, научное знание оказывается за пределом информационных полей, по ту сторону того, что имеет общепонятный смысл, но, проходя через массмедийный фильтр, оно обретает нарративную форму,

которая наделяет ее смыслом, делает понятной, даже если смысл этот и не имеет никакого отношения ни к научному знанию, ни даже к тирании так называемого здравого смысла.

Здесь самое время вернуться к имени Незнайки. Незнайка в логике Фрейда отмечен тем отрицанием, которое суть признание вытесненного знания. Частица «не» в психоанализе — метка такого признания. Не-Знайка — тот, кто знает и не знает одновременно. Отрицание — принципиальная черта символической матрицы, возможность онтологической игры присутствия и отсутствия. «Нет» для Фрейда — осуждение как интеллектуальная замена вытеснения, «сертификат о происхождении, подобный *Made in Germany*. Посредством символа отрицания мышление освобождается от ограничений вытеснения и обогащается содержанием, без которого не может обойтись в своей работе» [74, с. 401]*. «Нет», которого нет в бессознательном, бессознательное признает. Потому Фрейд и говорит, что «создание символа отрицания позволило мышлению обрести первую степень независимости от результатов вытеснения и вместе с тем также от гнета принципа удовольствия» [74, с. 404].

* Причем важно то, что частица «не» в первую очередь, как показывает Фрейд, имеет отношение к суждениям атрибуции, а не существования, и достаточно лишь того, что отрицание «подразумевает существование чего-то такого, что как раз и подвергается отрицанию» [81, p. 19].

Нет ничего удивительного в том, что мышление Незнайки и Знайки описаны по-разному, притом что оба принадлежат Университету *Made in USSR*. Незнайке, как правило, «неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль» [1, с. 79], та или иная мысль; а мыслительный процесс Знайки выглядит следующим образом: «Сначала в его голове клубились какие-то совершенно бесформенные мысли. Каждая мысль — на манер облака или большого расплывчатого пятна на стене, глядя на которое никак не разберешь, на что оно похоже» [1, с. 63]. Затем внезапно его озаряет оформленная, четкая мысль. Неопределенная фигура вырисовывается, встраиваясь в определенную дискурсивную конструкцию. С другой стороны, этот процесс описывается как вытеснение одной мыслью других; вытесняющая мысль овладевает Знайкой. Мысль Незнайки движется, согласно свободным ассоциациям, и потому на первый взгляд кажется неожиданной. Так ему вдруг приходит в голову взять прибор невесомости и отправиться на реку, чтобы посмотреть, «что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости. Неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль. Может быть, он начал думать о рыбах, потому что сам, словно рыба, целыми днями плавал по павильону в состоянии невесомости» [1, с. 79]. Мысли забираются в голову с других сцен, и Не-Знайка — расщепленный субъект, который знает, но не знает, что зна-

ет, и потому оказывается в постоянном поиске того, что он никогда не терял, а никогда не терял он той истины, которая *всегда уже* неполная, *не-вся*. Так говорит о ней Лакан, и дальше, поясняя это положение, следует двум траекториям мысли.

Первая траектория: есть два знания. Одно — университетское, универсальное, объективное, паранойяльное, полное, нарциссическое, *connaissance*; его представителем как раз является Знайка. Неудивительно, что он испытывает недоверие к словам: «Знайка знал, что чем больше слов, тем больше путаницы» [1, с. 71]. Второе — частичное, вопрошающее, забытое, истерическое, *savoir*. Второе знание — то, которому вечно не достает истины. Оно заставляет воскликнуть: Истина или Смерть!

Истина, конечно, связана с желанием. Конечно, она указывает на любовь. Но, поясняет Лакан, она внушает нам «разумеется, не любовь», она «вызывает к жизни иное означающее: *смерть*» [43, с. 217]. И здесь возникает мысль о связи смерти и отрицания, ведь оно, отрицание, вызывает представление о том, чего нет, и «отсылает нас к вопросу о том, чем же именно заявляющее о себе в символическом порядке небытие обязано реальности смерти» [46, с. 391].

Незнайка — агент истерического дискурса, а дискурс этот, напоминает Лакан, отличается постоянным вопрошанием. Незнайка движим влечением знать, откуда и явное расщепление

на Не и Знайку, на «нет» и «да». Вот, пожалуй, образцовый диалог с господином Скуперфильдом, для которого вопрос, а тем более ответ вопросом на вопрос — уже бунт (агента истерического дискурса); дело раба — отвечать однозначно, а Незнайка это делать отказывается, точнее — и соглашается и отказывается. Буквальное же понимание приказа господина принимается за позицию дурачка:

— Бунтовать будешь?
— Это как — бунтовать? — не понял Незнайка.
— А ты кто такой, что смеешь задавать мне вопросы? — вспылил Скуперфильд. — Это мое дело задавать вопросы, а твое дело отвечать. Когда тебя спрашивают, ты должен ответить коротко: «Да, господин. Нет, господин». И все. Понятно тебе?
— Да, господин, нет, господин, — послушно ответил Незнайка.
— Гм! — проворчал Скуперфильд. — Ты, может быть, дурачок?
— Да, господин, нет, господин.
— Гм! Гм! Ну, это, впрочем, хорошо, что ты дурачок. По крайней мере не будешь мутить рабочих на фабрике, не будешь подбивать их бросить работу. Правильно я говорю?
— Да, господин, нет, господин.
— Ну ладно, — сказал Скуперфильд. — Получай сосиску [1, с. 391].

Нет, Незнайка — не дурачок. Он движим безостановочным и безответным влечением познания, *Wisstrieb*, как сказал бы по-немецки

профессор Фрейд. Так, когда было закончено строительство ракеты, он во всех деталях расспрашивал Фуксию и Селедочку о том, как она устроена, к тому же в первый же день он несколько раз подряд сходил на экскурсию; как только открылся павильон невесомости, Незнайка там просто пропал. Как известно, прототипом Незнайки послужил ребенок с неугомонной жаждой деятельности и неистребимой жаждой знания*. Незнайка — сама подвижность, сам поиск. Истина или Смерть!

Вторая траектория мысли Лакана — незнание как этическая позиция психоаналитика. В «Вариантах образцового лечения» он пишет: «Положительным результатом открытия для себя собственного невежества является незнание, которое представляет собой не отрицание знания, а наиболее утонченную его форму» [41, с. 47–48]**. Последнее, что можно ожидать от Незнайки, — отрицание знания. Заключительный раздел статьи Лакана называется «Что

* Есть у него между тем как будто бы черта из будущего: Незиайка до такой степенн не может сосредоточить свое внимание на чем-то одном, что появляется опасность услышать от какого-нибудь футур-знайки диагноз: «Синдром дефицита внимания». К счастью, Незнайка, как мы помним, родом из шестидесятых, а существование синдрома дефицита внимания коллеги доктора Пилюлькина доказали в восьмидесятые, и впервые он был упомянут в третьем издаиии DSM-III.

** Истина еще заключается н в том, что как раз «на путях ученого незнания обретает анализ свои подлинные масштабы» [41, с. 51].

должен уметь психоаналитик: не ведать того, что знает». Психоаналитик должен не принимать в расчет то, что знает, хотя бы по той причине, что «знание, накопленное в его опыте, относится к воображаемому, в которое он вечно и упирается, кончая тем, что ставит ход анализа на службу систематического изучения воображаемого у конкретного субъекта» [41, с. 46]. В другой раз Лакан подчеркивает, что именно не-знание позволяет сохранять сингулярность каждого психоаналитического случая. Так он говорит о задаче «сознательного упрочения аналитиком своего незнания всякого субъекта, приходящего к нему для анализа, каждый раз возобновляемого невежества, не позволяющего видеть в ком бы то ни было лишь очередной случай» [45, с. 179].

Психоаналитик — *субъект не знающий, а якобы знающий*. И если можно говорить об успехе в психоанализе, то заключается он «в росте не-знания и примыкает в истории науки к тому состоянию ее, в котором она пребывала до своего определения Аристотелем и которое именуется диалектикой. О чем свидетельствуют, в частности, и труды самого Фрейда с их многочисленными ссылками на Платона и досократиков» [41, с. 49]. Если Фрейд обращается к досократикам, то Лакан и к ним, а еще и к буддийским размышлениям о любви, ненависти и неведении, то есть о том, что в буддизме называется *клешами*, затуманивающими карти-

ну аффектами. Клеши, к которым традиционно относят страсть, агрессию, неведение, гордость, зависть, указывают на неизбежную аффектированность эгоцентрированного сознания даже самого полновесного знайки. Впрочем, речь не о затуманивающих разум аффектах, а о воображаемом знании. Именно оно требует отклонения в сторону незнания. И именно от его веса, давления и следует уклоняться. Психоаналитик не станет на путь психоанализа, если

> не сумеет разглядеть в своем знании симптом своего невежества, и притом в смысле чисто аналитическом, где симптом является возвращением вытесненного путем компромисса, а вытеснение, как и в других случаях, — цензурой, которой подвергается истина. Что же до невежества, то его следует понимать здесь не как отсутствие знания, а, наряду с любовью и ненавистью, как одну из присущих бытию страстей, ибо и оно может, подобно тем двум, стать путем, на котором бытие формируется [41, с. 47].

Здесь — грань *реального*, того, что вновь и вновь возвращается на свое место. Лакан в «Телевидении» отвечает на вопрос Канта, «что я могу знать?»: «Ничего — по крайней мере, что не имело бы структуры языка, откуда следует, что то, до какой границы я *внутри* этих пределов дойду, есть исключительно вопрос логики» [47, с. 61]. И подтверждает это Лакану научный дискурс Знайки, который «с успехом осуще-

ствляет посадку на Луне, удостоверяющую для мысли вторжение *реального*» [47, с. 62]. На пороге вторжения стоит Шекспир, который передает слово Тезею:

> The lunatic, the lover, and the poet
> Are of imagination all compact*.

Лунатик — это, конечно, тот, кто путает реальность и свое воображение, а не тот, кто осуществляет посадку на Луне. Лунатик обитает в воображаемом измерении**. Ты что, с Луны свалился? Этот вопрос предполагает падение. Затяжное падение с ускорением времени *vom Himmel durch die Welt zur Hölle****. Впрочем, в данном случае это падение — не то падение, да и не свидетельство гравитации, и даже не библейское падение от плодов познания, и не низвержение в ад, а отпадение от консенсуса здравого смысла, от канона общих мнений. Кстати, а кому нужен консенсус? Да и возможен ли он вообще? Ведь консенсус «насилует гетерогенность языковых игр, а инновация появляется всегда из разногла-

* «Безумные, любовники, поэты — Все из фантазий созданы одних» [78, с. 194].

** Жижек соотиосит триаду Шекспира с триадой Лакана: безумный (лунатик) представляет господство воображаемого измерения, он путает реальность и воображение. Любовник (влюбленный) отождествляет любимую с абсолютной Вещью в символическом коротком замыкании означающего и означаемого. Поэт создает явление на фоне пустоты реального [90, с. 119].

*** «[Сойти] с небес сквозь землю в ад» [28, с. 14].

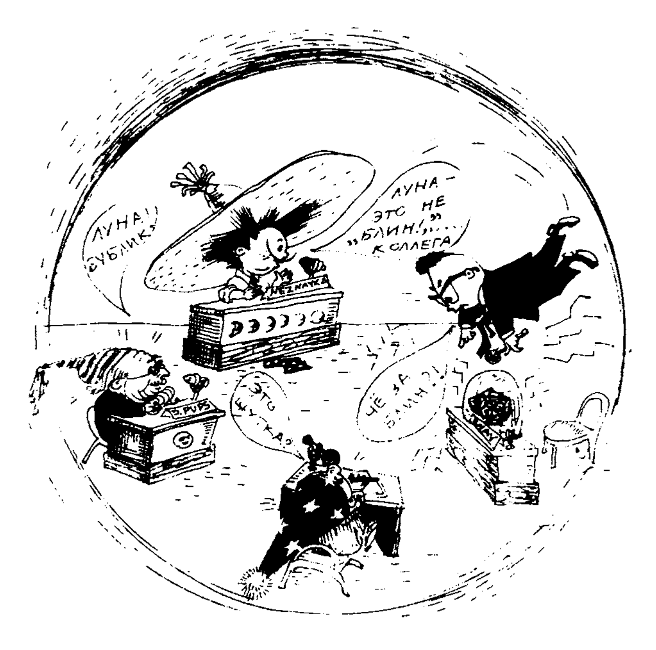
сия» [52, с. 12]. Незнайка не из тех, кто склонен к консенсусу.

Здесь как раз и стоит вспомнить времена Перестройки, когда Незнайка стал, скажем на сей раз, эмблемой «Кабинета». Перестройка оказалась временной петлей, в которой обнаружилась гетерогенность языковых игр и понеслась невероятная разноголосица. Эта временная петля стала подлинной революцией, поскольку произошел крах символического порядка с распадом Другого, как называет его Лакан, или с внезапно возникшим полным недоверием к Большому Рассказу Коммунизма, как говорит Лиотар. Символическая гравитация во времена перестройки обернулась символической невесомостью. Символический порядок обнажил бес-порядок. Время вывихнулось, отметив кризис символического строя. Шла перестройка реальности, семиосферы, демонтаж одной системы и монтаж множества других. При этом понятно, что реорганизация осуществлялась без Главного Инженера. Многие падали с Луны.

Незнайка же с Пончиком, напротив, прилунились. Хотя прилунились или приземлились, это зависит от точки зрения. Когда Незнайке в каталажке в силу его непонимания элементарных (для лунного капитализма) вещей, говорят, что он с Луны свалился, то он отвечает, мол, прилетел с Земли. Но для лунатиков их дом — Земля, а Луна ее окружает. Устройство сфер, впрочем, Незнайке еще предстоит распо-

знать, а пока он вместе с Пончиком попадает с поверхности Луны в пещеру.

Незнайка принялся ее тотчас исследовать, бодро шагая вперед и при этом тщательно все осматривая. Из пещеры герои попали в туннель. Стены его вдруг раздвинулись, «и путешественники очутились в огромном подземном мире, как его правильнее было бы назвать — подлунном гроте» [1, с. 121]. Там, в этом сказочном царстве холода, они растерялись, и Незнайка уже один оказался в новом тоннеле, по которому, стремительно набирая скорость, полетел по отвесному склону вниз. В результате он оказался на шаре, находящемся внутри шара Луны, как и предсказывал Знайка. На поверхности внутреннего шара и жили лунатики. Этот эпизод падения сквозь небеса в подлунный мир, в Царство Лунатиков, которому к тому же предшествует движение по сферам, указывает на то, что весьма вероятно мы попали вместе с «Незнайкой на Луне» в ту траекторию движения мысли, которая известна как *катабасис*. Во всяком случае, Незнайке предстояло пережить нисхождение в подлунный ад капитализма, а книге встроиться в почетный ряд, включающий «Одиссею», «Божественную комедию» и «Толкование сновидений».



ОПЫТ – СЫН ... ПАРАДОКС... ДРУГ

ГЛАВА 5
ПАРАЛОГИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Винтик и Шпунтик не принадлежат экспертному знанию.— Скорость мысли и скорость света.— Экспертное знание и паралогия изобретателей.— Перформатив «ученые доказали».— Советский Союз — страна университетского дискурса.— Незнайка как сторонник диссенсуса.

ВЕРНЕМСЯ на время во времена Бес-Порядка перестройки. Отсутствие Главного Инженера отчетливо бросалось в глаза, и, как сказали бы люди верующие в нечистую си́лу, порядок попутал бес. Главный Инженер уступил свое место изобретателям, тем, кто одержим инновациями.

Так на первый план выходят Винтик и Шпунтик, «два очень изобретательных ума» [1, с. 43–44]. Основанием их, как сказал бы Лиотар, постсовременного знания, оказывается «не гомология экспертов, но паралогия изобретателей» [52, с. 12]*. Впрочем, с тех пор много воды утекло, и сегодня важен не изобретатель, а как раз эксперт: «нет больше ученых, есть только *эксперты*» [86, p. 328].

* Впрочем, изобретение отличительная черта *Современности* в широком смысле слова.

Впрочем, Винтик и Шпунтик здесь ни при чем. Они только и делают, что стремительно прокручивают мысли и придумывают разные усовершенствования. Мысли так и закипают у них в голове, накатывая одна на другую. Когда Шпунтик со всех ног бежит, чтобы рассказать коротышкам о своем гениальном изобретении, то по дороге его забывает, поскольку в голову уже забрались новые мысли. Мир просто непрерывно внушает мысль о необходимом преобразовании: «Живые, юркие глазки Шпунтика все время вертелись в разные стороны. Каждый предмет, который попадал Шпунтику на глаза, внушал ему какую-нибудь остроумную мысль» [1, с. 50]*. Да, изобретатели нередко способны развить просто невероятную скорость мысли. Так, инженер Клёпка из Солнечного города мыслил «со скоростью света, который, как это каждому уже известно, пробегает триста тысяч километров в секунду» [2, с. 389]. Да, в Солнечном городе каждому известно, что скорость света — фундаментальная физическая постоянная, предельная величина, характеризующая пространство-время. Это важно знать изобретателям, а вот экспертам такого рода знание ни к чему. Свет Просвещения слишком стремительно трасси-

* Кстати, особенностью мышления Шпунтика было наслоение мыслей. Точнее ему в голову постоянно лезли новые мыслн и вытесняли предыдущие «зверски гениальные мысли» [1, с. 51].

рует таблицы в преисподней лунного позитивизма.

Экспертное «знание» не считывается, если оно не занесено в таблицу. Просто слова как будто подлежат научной агнозии. Настоящими учеными, не такими фантазерами, как Знайка, слова не распознаются, если выпадают за рамки таблицы. Еще хуже для эксперта, когда слова просто звучат и их нужно понимать на слух. А вот если они написаны большими буквами, занесены в табличку, а табличка с помощью компьютера и проектора предстает перед взором на большом экране, — вот тогда все в порядке. Сила знания — в экране. Она — в зеркале. Она — в *power point*. Точка силы — пункт сборки нарциссического образа на экране.

Экспертное «знание» по определению согласовано между экспертами, понятно им всем, понятно и подобно, гомологично. Оно, как с усмешкой напоминает Лакан, строится по зеркальному принципу образа и подобия. Результат такого «знания» — полный шар. Другое дело паралогия изобретателей. Паралогия? Да, говорит консилиум знаек. Да, говорят представители психиатрической экспертизы во главе с доктором Пилюлькиным. Да, у Незнайки — паралогия, у него умозаключения, противоречащие рассудку, здравому смыслу, заблуждение в результате расстройства мышления, характеризующегося утратой логической последовательности. Он — с Луны свалился!

Аристотель, впрочем, смягчает ситуацию и говорит, что Незнайка — просто софист, тот, кто намеренно пользуется ложными доказательствами. Кант тоже защищает Незнайку от нападок, напоминая о том, что паралогизм может быть трансцендентальным.

Трансцендентальный Незнайка оказывается в стороне от логики, открывающейся магическим перформативом «ученые доказали». Эта фраза может указывать на смену веры, на замену религии наукой*, откуда и появляется, например, вопрос, стоит ли верить лунатику Мизинчику, когда тот говорит: «Ведро воды заменяет стакан сметаны. Науке это давно известно» [1, с. 309]. Эта фраза, будто означающая, что дело сделано и говорить тут не о чем, отсылает не только к некоему доказательству неких ученых, не только к вере как вере другого, но и к источнику информации, к посреднику, к массмедиа. А это заставляет, в частности, Пола Фейерабенда сделать довольно резкое высказывание, которое ведет к его знаменитому требованию отделения науки от государства:

* В свое время Вальтер Беньямин указал на эту замену. Славой Жижек из дня нынешнего отмечает: поскольку наука и религия поменялись местами, то «религия оказывается одним из тех мест, где может развернуться критическое сомнение по поводу сегодняшнего общества. Она становится одним из мест сопротивления» [91, p. 82].

> Конечно, наши оболваненные прагматические современники склонны предаваться взрывам восторга по поводу таких событий, как полеты на Луну, открытие двойной спирали ДНК или термодинамического неравновесия. Однако при взгляде с иной точки зрения все это — смешно и бесплодно. Требуются миллиарды долларов, тысячи высококвалифицированных специалистов, годы упорной и тяжелой работы для того, чтобы дать возможность нескольким косноязычным и довольно-таки ограниченным современникам совершить неуклюжий прыжок туда, куда не захотел бы отправиться ни один человек, находящийся в здравом уме, — в пустой, лишенный воздуха мир раскаленных камней [70, с. 46].

Нам уже довелось столкнуться с полемикой Знайки и Звездочкина. Вот и получается, что одни ученые себе доказали то, во что не верят другие ученые. Собственно, даже в утопических местах и то ученые никак не могут прийти к согласию. При этом, парадоксальным образом, некоторые академические ученые продолжают верить в то, что истина рождается в спорах. По крайней мере такова любимая поговорка профессора Звездочкина. С ним никак не соглашается Жан-Франсуа Лиотар: никакого консенсуса, только диссенсус! Каждый ученый остается при своем мнении. Так,

> В Солнечном городе все астрономы даже поссорились между собой, стараясь разрешить этот сложный вопрос, и разделились на две полови-

> ны. Одна половина утверждает, что лунные кратеры произошли от вулканов, другая половина говорит, что лунные кратеры — это следы от падения крупных метеоритов. Первую половину астрономов называют поэтому последователями вулканической теории, или попросту вулканистами, а вторую — последователями метеоритной теории, или метеоритчиками [1, с. 9].

Странно или нет, но в этой дискуссии можно усмотреть следы той полемики, о которой пишет в своей статье 1785 года «О вулканах на Луне» Иммануил Кант. Статья эта начинается с сообщения Гиацинта Магеллана Академии наук в Петербурге по поводу доклада иностранного члена этой же академии, Уильяма Гершеля, о вулканах на Луне. Во времена расцвета эпохи Просвещения разговоры о вулканических лунных кратерах стали общим местом, а зачинщиком этой истории считается Роберт Гук с его «Микрографиями» (1655). Гершель — сторонник вулканического происхождения лунных кратеров, и Кант, размышляя о правомерности такой теории, предполагает, что речь должна идти не о земных вулканах, а вулканах атмосферных и даже *аэросферных*. В конце статьи он говорит, что «образование горных поверхностей космических тел (которые мы можем наблюдать) — Земли, Луны, Венеры — из атмосферных извержений первоначально раскаленных хаотично движущихся масс кажется довольно общим законом» [35, с. 70]. Можно

сказать, что и открытие Знайкой лунита восходит к этой статье Канта, указывающего на самосветящиеся точки, которые можно видеть лунной ночью. Кстати, надеюсь, никто не удивлен появлению в рассказах о Незнайке Иммануила Канта, ведь принадлежность «Незнайки на Луне» дискурсу Просвещения достаточно очевидна. К тому же Кант появляется не только благодаря Знайке и Незнайке, но его привлекает и Жан-Франсуа Лиотар.

Ученый знает и в знании своем не сомневается. Он настаивает на своем. Так ярчайший представитель медицинского дискурса доктор Пилюлькин завершает пламенную речь о необходимости соблюдения режима и дисциплины словами: «Это сказал вам я, доктор Пилюлькин, а раз сказал я, так и будет, как я сказал!» [1, с. 431]. Такова вообще манера Пилюлькина, так он и разговаривает, говоря и от своего лица, и как бы от некоего Другого, объективирующего речь ученого-медика: «Никакие нарушения режима не ускользнут от моего внимания, так вы и знайте! Это сказал вам я, доктор Пилюлькин, а доктор Пилюлькин, как уже всем известно, бросать слова на ветер не любит!» [1, с. 433]. Это точно: знание, занимая место агента, словами не бросается — скорее, их отбрасывает куда подальше, например в техно-зеркальный *power point*. Важно отметить между тем и то, что Пилюлькин, в отличие от лунных докторов, не выписывает гору рецептов, не стремится даже

косвенно продать множество препаратов, как это случилось с пострадавшим Козликом, которому выписали «различные медикаменты как для приема внутрь, так и наружные: витамины разных сортов, антибиотики, синтомициновую эмульсию для прикладывания к распухшей шее, а также стрептоцид, пирамидон и новокаин» [1, с. 384]. Как и в случае Знайки, Пилюлькин, хоть и доктор наук, но точка пристежки к университетскому дискурсу у него не лунная.

Вспомним еще раз, что начало «Незнайки на Луне» — это научная полемика, дебаты о происхождении лунных кратеров, теории невесомости, люминесценции... По мысли Лакана, университетский дискурс может далеко выходить за рамки какого-нибудь конкретного университета и даже быть дискурсом целой страны. СССР — страна университетского дискурса: «Ибо в государстве, именуемом обычно Союз Советских Социалистических Республик, царит именно Университет» [43, с. 258]*.

Когда говорит авторитет Знайка, остальные коротышки умолкают. «Незнайка на Луне» — памятник Советскому Союзу как Стране Уни-

* Кстати, одии из последних осколков распавшейся обители советского дискурса оказался, скажем по привычке, в космосе. Им стала орбитальная станция «Мир» вместе с последним советским космонавтом Сергеем Крикалевым. Поль Вирилио пишет о том, что после распада Советского Союза наступил конец и космизму. Более того, «время „космических иллюзий“ прошло, они оказались никчемными и даже „комическими“!» [24, с. 65].

верситета. «Незнайка на Луне» — памятник холодной войне. «Незнайка на Луне» — памятник советским покорителям космоса.

Вопрос о том, какая из теорий кажется в данный момент единственно верной, имеет прямое отношение к массмедиатизации, которая, в свою очередь, связана с государством и/или корпорациями, а они, ясное дело, — с идеологией эффективного производства. Эффективными на Луне оказались бы либо вулканисты, либо метеоритчики, а возможно, и Знайка с его теорией «кирпичей». Важно, что речь не идет ни о каком консенсусе, а скорее о том, что Лиотар называет террором — «эффективность, полученная от уничтожения или угрозы уничтожения партнера, вышедшего из языковой игры, в которую с ним играют» [52, с. 151–152]. Незнайка, попадая на Луну, как раз и не может понять тех игр, в которые с ним играют лунатики. Не может он понять ни эффективности, ни частной собственности, ни функции денег. Он пребывает в диссенсусе.


СЬЕШЬ
МЕНЯ!

ГЛАВА 6
КАКИЕ ТАКИЕ, ДОРОГОЙ ДРУГ, ДЕНЬГИ?!

Незнайка не знает частной собственности, но готов ее признать.— Несоизмеримость.— Маркетинг.— От биовласти к психовласти.— Отчуждение от знания и всеобщая пролетаризация.— Мафиозный капитализм.— Судьба Пончика.— Тотальная соизмеримость: почем коротышка? — Зеркальные отношения между капитал-коротышками.— Деньги разменивают символическое на воображаемое.— Бренды и бредламы.

И вновь вернемся к перестройке, к БесПорядку, который заключался, в частности, не просто в том, что одни денежные знаки заменялись на другие, советские на российские, а в том, что менялось само их значение. Как сказал бы Лакан, дело не в деньгах, и уж тем более не в их количестве, а в точке их пристежки с идеологией. Чтобы понять смену пристежки реальности, следует немедленно обратиться к Незнайке*.

Денежные знаки, как и положено, при наступлении капитализма, тем более капитализма дикого, лунного, превращались в универсаль-

* Подробнее см.: [83].

ную разменную монету. Пройдет еще несколько лет. Перестройка закроется, наступит новый порядок, а лунная фискальность останется. И будет она заключаться в первую очередь в слепоте к любой возможной неразменности, несоизмеримости; разменным представляется все — влечения, желания, чувства. Более того, сама идея невозможного пересчета на деньги может вызвать ярость. Капитал в эпоху эффективных менеджеров, экспертов станет *всем*. Где тут несоизмеримость? Какое уж тут Незнайкино *не-всё*?! Какое уж тут незнание денег?!

Незнайка не в курсе дискурса капиталиста. Как же ему понять, что не коротышка — мера всех вещей, а деньги — их мерило. Для начала Незнайка сталкивается с новым для себя фундаментальным понятием лунного капитализма — *частная собственность*. Напомним, что после прилунения Незнайка приступил к исследованию местной фауны на вкус. Каковы они, лунные яблоки, груши, малина?! В результате наш герой предстает перед владельцем местной фауны, господином Клопсом, задающим Незнайке вопрос, ответ на который очевиден только для господина:

— Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь! — закричал он. — Ты разве не видел, что здесь частная собственность?

— Какая такая частная собственность?

— Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности? — спросил подозрительно Клопс.

— Почему не признаю? — смутился Незнайка. — Я признаю, только я не знаю, какая это собственность! У нас нет никакой частной собственности... [1, с. 130]

Не успевает Незнайка отойти толком от недоумения, вызванного частной собственностью, как сталкивается с деньгами. И опять речь идет о еде. Только на сей раз наш герой не пробует на вкус фрукты, а садится за столик в ресторане. Незнайка проголодался. Он видит ужинающих лунных коротышек и решает подкрепиться. Утолив голод, довольный Незнайка благодарно машет официанту рукой, готовый отправиться дальше, но официант его догоняет и говорит:

— Вы забыли, дорогой друг, о деньгах.

— О чем? — с приятной улыбкой переспросил Незнайка.

— О деньгах, дорогой друг, о деньгах!

— О каких, дорогой друг, деньгах!

— Ну, вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги.

— Деньги? — растерянно произнес Незнайка. — А что это, дорогой друг? Я, как бы это сказать, впервые слышу такое слово [1, с. 137–138].

Понятно, что появляется полицейский с криком «Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина?», и недоумевающий Незнайка попадает в полицейское управление. Первое, с чем он там сталкивается, — это процедура идентифи-

кации. Технология вкратце такова: фотография, рентгенография, дактилоскопия. Затем полицейский Мигль заявляет, что не может полагаться на слова Незнайки о подлинности его имени. Имя легко сменить. После этого Мигль объясняет, как устроен его архив преступников. И, наконец, из таблиц этого архива согласно антропометрическим замерам Незнайки он извлекает дело некоего Красавчика. Система наукометрического опознания сработала: Незнайка — бандит и налетчик Красавчик. Объективная истина восторжествовала, не доверяя ни имени, ни облику. Впрочем, так и должно быть: одно дело — субъект Незнайка, другое — объективная истина. Им и не положено пересекаться. Незнайка, конечно, в изумлении указывает на то, что он совершенно не похож на коротышку на фотографии. На что проницательный Мигль говорит: «Верно! Совсем не похожи! А почему? У нас, милейший, за деньги все можно сделать. И внешность свою изменить, и даже нос другой себе прирастить» [1, с. 145]. Полицейский предлагает Незнайке свободу за деньги. Незнайка вновь ничего не понимает и оказывается в каталажке.

Там никто себе представить не может, что Незнайка, будучи в здравом уме, на самом деле никогда не слышал слово *деньги*. В отчаянии обращается он к обитателям каталажки: «Какие деньги? Объясните хоть вы мне, братцы, что у вас за деньги такие?» [1, с. 149]. Разуме-

ется, в ответ Незнайка слышит, что он, судя по всему, с Луны свалился. Арестанты истолковывают его незнание так: либо он слишком умен и сбивает с толку полицию, либо он дурачок, либо — сумасшедший. Последняя версия аргументируется тем, что «сумасшедшие всегда воображают себя какими-нибудь великими личностями, знаменитостями или отважными путешественниками» [1, с. 150].

Впрочем, арестанты, конечно же, не хуже тех, кто их посадил, знакомы с тем, что такое деньги, и один из них объясняет, наконец, *значение денег*: «У кого есть сантики, тот может все купить» [1, с. 151]. Впрочем, такое объяснение едва ли может что-то прояснить, ведь оно остается в рамках одной и той же дискурсивной системы, в пределах одной экономики. Значение денег можно понять только в рамках всей дискурсивной системы лунного капитализма. Незнайка не понимает значение глагола «купить», и тогда космонавт из Цветочного города получает в тюрьме свой первый урок товарно-денежных отношений лунного капитализма.

Жулик по имени Стрига, чтобы лучше объяснить основы лунного капитализма, переходит от теории к практике. Он убеждает Незнайку продать ему шляпу за пятнадцать сантиков, чтобы купить на них картошки. Стрига забирает шляпу, дает Незнайке деньги, но тут же их забирает Вихрастый, чтобы через охранника купить картошки. При этом десять сантиков он

незаметно кладет себе в карман, следуя незаконному закону лунного капитализма, известному как *откат*, а на оставшиеся пять покупает у полицейского картошечки. Дело в шляпе.

В тюрьме Незнайка знакомится с аферистом Мигой, который сводит его со своим приятелем, торговцем оружием, Жулио. Жулио преподает ему еще один урок: *у кого есть деньги, тот может совершать преступления*. Деньги вступают в отношения с законом. Точнее, они позволяют их «счастливым» обладателям преступать закон. Деньги в своей циркуляции могут по закону преступать закон. Где есть деньги, там есть законно незаконное преступление буквы закона.

Жулио вносит залог за Мигу, тот оказывается на свободе; вместе с Незнайкой и Козликом они обсуждают перспективы выращивания на Луне земных растений, семена которых остались в ракете на поверхности небесного тела. Для построения летательного аппарата, способного достичь внешней поверхности Луны, они основывают акционерное *Общество гигантских растений*. Для начала они раскручивают факт прибытия космонавта Незнайки в средствах массовой информации, и так акции должны быстренько разойтись. Без маркетинга ни шагу!

Маркетинг, как известно, управляет всеми звеньями цепи продвижения товара к потребителю. Вообще важно не производство, а по-

требление. Думаю, всем известно, что маркетинг был изобретен племянником Зигмунда Фрейда Эдвардом Бернейсом. Бернейс тщательно изучил труды своего дяди и «предложил полностью поменять конфигурацию американской индустриальной политики в качестве либидинальной экономики» [87, p. 232]. Либидинальная экономика, основанная на маркетинге, производит то, что Стиглер называет по аналогии с биовластью Фуко психовластью. Психовласть «контролирует индивидуальное и коллективное поведение потребителей, канализируя их либидинальную энергию к товарам» [87, p. 232]. Понятно, что *нормальным* для рынка оказывается адаптированное к нему поведение лунных коротышек. Первым шагом в сторону такой нормализации оказывается *переход от желания к влечению*. Один из способов этого перехода — потребление, которое не имеет права привязываться к объектам; важны не объекты, а их постоянная замена, то есть либидо влечения нацелено на циркуляцию потребления как такового. Либидо перемещается по орбите, лишь огибая объект, так что нельзя не согласиться с утверждением, что «влечение — это то, что движет всей капиталистической машинерией» [34, с. 409]*. Такова между тем обо-

* Движение влечения описывается при этом как подчиняющееся «жуткой логике искривленного пространства, в котором самым коротким расстоянием между двумя точками является не прямая, а кривая».

ротная сторона экономики, поддерживаемой непрерывными инновациями. Вторым шагом в сторону рыночной нормализации, пожалуй, оказывается подмена самого психоаналитического понятия «влечение» биологическим «инстинктом». Новый капиталистический рынок товаров замещается животноводческой фермой по производству индивидов, наделенных базовым инстинктом потребления. Причем к потреблению относятся не только товары и услуги, но информация и развлечения. Потребительское общество лунного капитализма предполагает пролетаризацию потребителя, т. е. отчуждение его умения что-либо делать, жить, фантазировать, теоретизировать. Отчуждение к тому же происходит и в связи с техническими гаджетами. По технообъектам встречают, по ним провожают; происходит «самоотчуждение индивидов, вынужденных телесно и духовно формировать себя в соответствии с мерками технической аппаратуры» [77, с. 46].

Вопреки ожиданиям учредителей *Общества гигантских растений*, акции отнюдь не стали расходиться сразу после их выпуска и маркетинга. В чем дело? А в том, что об этом обществе лунатики мгновенно забыли, поскольку в тот же день произошло куда более привлекательное событие — ограбление промышленного банка и все массмедиа переключились на него. Эта история, конечно же, свидетель-

ствует об индустриализации памяти на Луне. Газеты, радио, телевидение полностью контролируют мысли и разговоры лунатиков. Медиатизация новостей мгновенно подвергает вытеснению то, что только что казалось невероятно важным событием: «О Незнайке, о космическом корабле, о гигантских растениях теперь никто даже не вспоминал. Все это вытеснилось из памяти коротышек более новыми, свежими, животрепещущими событиями» [1, с. 218]. Вытеснение оказывается механизмом индустрии забвения, а бессознательное — предметом эксплуатации и маркетинга, и не только бессознательное с его желаниями, но, как уже говорилось, и либидо с его влечениями.

Понятно, что маркетинг Незнайки производится не ради Незнайки. В зону его раскрутки кто только не попадает. Даже доктор Шприц использует в целях саморекламы прибытие коротышки с другой планеты:

> — Уважаемые зрители! — сказал он. — Дамы и господа! С вами говорит доктор Шприц. Вы слышите глухие удары: тук! Тук! Тук! Это бьется сердце космонавта, прибывшего на нашу планету. Внимание, внимание! Говорит доктор Шприц. Мой адрес: Холерная улица, дом пятнадцать. Прием больных ежедневно с девяти утра до шести вечера [1, с. 194].

Маркетингу в приключениях Незнайки на Луне уделено отдельное внимание. Так, после того

как его сфотографировали с рекламным плакатом, который призывал лунатиков «покупать коврижки конфетной фабрики „Заря“» [1, с. 198], после того как его фотография с доктором Шприцем попала в газеты, Незнайка узнает:

> Таковы уж нравы у лунных жителей! Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе [1, с. 199].

Между тем деятельность акционерного общества всё же постепенно начинает расширяться, что тревожит монополистов, для которых появление гигантских растений может резко сократить прибыли. Один из богатейших коротышек из города Грабенберга, господин Спрутс предпринимает меры для развала Общества. Он показывает, как власть сращивается с капиталом, как полиция в прорезиненных электрозащитных плащах с капюшонами и высоковольтными дубинками в руках исполняет все приказы монополистов, а техноученые отрабатывают деньги Спрутса, как осуществляется *продакт-*

плейсмент товаров в газетах, которые, разумеется, ему же и принадлежат.

Капитал помечает и прописывает всех, стирая границы между различными социальными стратами — властями и террористами, полицейскими и бандитами. «Мафия вытесняет буржуазию, и капитализм становится по сути дела мафиозным» [88, p. 88]:

> Теперешнего полицейского не отличишь от бандита, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами, бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтоб удобнее было грабить. В результате честному коротышке уже совершенно безразлично, кто перед ним: бандит или полицейский [1, с. 212]*.

Кстати, пришло время вспомнить о судьбе Пончика, партнера Незнайки по полету. Поглотив все запасы пищи в ракете, он вышел из нее, попал в грот, поскользнулся, провалился в подлунный колодец и оказался на внутренней поверхности Луны в районе курортного города Лос-Паганоса. Будучи осторожным коротышкой, он быстро усваивает суть товарно-денежных отношений. Вскоре он открывает новый

* Позднее в книге вновь возникает ассоциация полицейских с бандитами. Бедный коротышка-селянин Колосок ругает на чем свет стоит полицейских, называет их «головорезами, пиратами, бандитами, угорелыми паразитами и скотами», отвечая на вопрос Селедочки о том, кто же все-таки они такие, эти самые лунные полицейские.

бизнес — продажу соли, которой у лунатиков в рационе не было. Пончик богатеет, основывает соляной завод, нанимает рабочих для соляного производства. Главный урок Пончика — урок прибавочной стоимости:

> Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял, таким образом, лишь двенадцать фертингов в день, в то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за двести сорок — двести пятьдесят фертингов. Выходило, что клал в свой карман Пончик чуть ли не в двадцать раз больше денег, чем отдавал рабочим, в результате чего богател, как говорится, не по дням, а по часам» [1, с. 356].

Впрочем, процветание дела Пончика, или господина Понча, как его стали называть лунатики, длилось не долго. На соляной рынок выходит монополист залежей соли — Дракула, и процветанию господина Понча приходит конец. Капитал-вампир Дракула вместе с другими крупными соляными фабрикантами снижает цены до демпинговых, и все мелкие производители соли, включая господина Понча, разоряются. После этого Пончик становится рабочим и через некоторое время вступает в тайную организацию «Общество свободных крутильщиков», о котором мы расскажем позже.

Вернемся к Незнайке. Его, конечно, волновал вопрос, зачем лунные коротышки стремятся вла-

деть как можно большим количеством денег. Ответ на этот вопрос ему дает Козлик. В центре его теории лунного капитализма — тщеславие, дух соперничества. Богач строит дом, взирая на другого, стремясь его превзойти. То же самое касается прислуги, числа автомобилей. Так между коротышками выстраиваются зеркальные отношения. Один моделирует свою жизнь по образу и подобию другого. Все строится на сравнении. Фрейд, кстати, рассказывая историю одного малыша, пишет, что тот был одержим желанием сравнивать, причем самые разные вещи — людей, лошадей, других зверей и даже паровозы. Тогда Фрейд понял, что «я» это — масштаб, «которым оценивается мир; путем постоянного сравнения с собой научаешься понимать его» [72, с. 99]. Коротышка — мера всех вещей.

На Луне было принято сравнивать только одно — богатство. Сравнивать и хвалиться превосходством. Именно богатство определяет то, чего стоит коротышка: так, в Грабенберге, например, коротышек ценили «не за их способности, не за их ум, доброту, честность и тому подобные моральные качества, а исключительно за те деньги, которыми они владели» [1, с. 237]. По капиталу его встречают, по капиталу провожают. Он = его капитал. Так, в Грабенберге, если коротышка сколотил капитал в миллион фертингов, то о нем с придыханием говорили, что он стоит миллион, если у него была тысяча,

то говорили, что он стоит сотню*. И здесь мы видим, как вопрос, *чего ты стоишь?* понимается в зависимости от точки пристежки. Если вне рынка вопрос этот предполагает проверку способностей, сил, возможностей, то на рынке его следует воспринимать буквально.

Погоня за деньгами и *всем* тем, что на них покупается, никогда не имеет предела. Другие всегда рядом. Зеркала умножают фигуры до бесконечности. Или в терминах Козлика, «тщеславие такая вещь: его ничем не насытишь» [1, с. 225]. Незнайка, конечно, спрашивает, а что это такое, тщеславие, и узнает: «это когда хочется другим пыль в глаза пустить» [1, с. 225]. Так вот почему на улицах столько пыли!

Система лунного капитализма позволяет не только быть богатым, но и имитировать богатство, брать его как бы в долг. Попросту говоря, речь идет о кредитовании и рассрочке. Главное такой богач в долг считает, пусть «все воображают, что я тоже богач» [1, с. 225–226]. Система зеркал работает. Козлик знает, что говорит. Он сам пал жертвой капитализма, построенного на долге. В результате у него даже

* Сегодня такая фраза едва ли может удивить. Ее можно услышать или прочитать в связи с медиарейтингами магнатов, актеров, футболистов. О футболисте, например, можно теперь просто сказать: «Вот, пожалуйста, на поле выходит сто миллионов евро», или «Стенка при исполнении штрафного удара стоит двести пятьдесят миллионов».

появился симптом: он не может произнести слово «автомобиль», вместо которого звучит «авто-аха-мобиль». Именно это «аха», или «ага» как раз указывает Лакану на стадию зеркала, на ситуацию, когда еще не говорящий малыш с ликованием распознает себя в зеркале, а его мимика озарения называется *Aha-Erlebnis*.

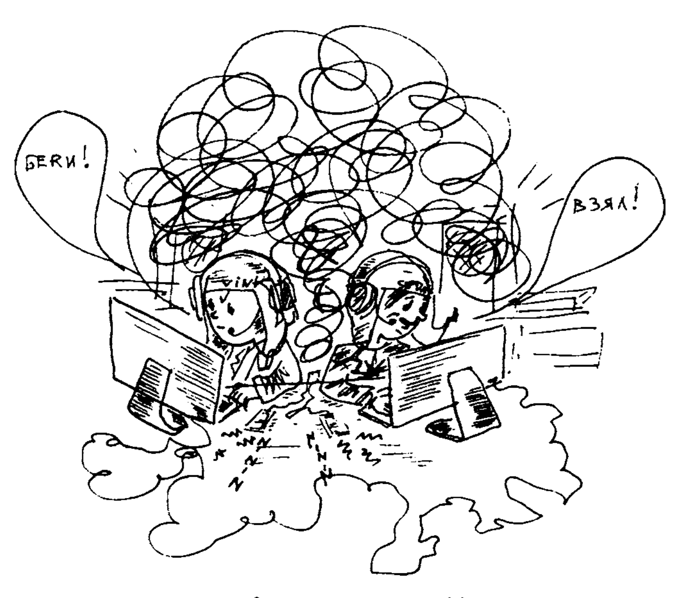
С деньгами возможно всё, или, иначе говоря, невозможного как бы и не существует. Деньги — разменная монета символического на воображаемое. Они даже помогают изменить собственное *я*. Например, с помощью пластической хирургии изменить свою внешность. Образ собственного *я* не просто отражается в деньгах, но в них преобразуется. Нам уже полицейский Мигль рассказывал. Можно, впрочем, и без пластической хирургии менять свою внешность, правда, не так радикально: для богачей имеются так называемые салоны красоты. И если бедным открыть на каждом углу салоны красоты, то они будут *как* богатые.

Таким образом, всё, включая внешность и идентичность, можно изменить, купить. Всё — соизмеримо. Никакого трансцендентного Незнайки нет и в помине. Есть царство воображаемого. Можно даже сказать, и товаров нет, есть лишь реклама товарного фетишизма. Бредлам для того и нужен, чтобы решать, как продавать *бренды*. Бредлам — это и собрание, форум лунных капиталистов и, как мы узнаем, их объединение, организация. Понятно, что одно

связано с другим. Появление на маркетинговом рынке акций Общества гигантских растений заставляет господина Спрутса созвать экстренное собрание Большого Бредлама, на которое съезжаются самые богатые капиталисты — Тупс, Дубс, Скрягинс, Жадинг, Дрянинг, Скуперфильд и другие. Спрутс предлагает убить саму мысль о существовании гигантских растений, космонавтов и всего остального, что связано с Незнайкой. Впрочем, нам стоит задержаться на личности господина Скуперфильда, владельца гигантской макаронной фабрики в городе Брехенвиле, который всю свою жизнь посвятил добыче денег. В связи с этой фигурой мы узнаем вот что: можно попасть в такую ситуацию, когда уже не ты владеешь деньгами, а они тобой. Скуперфильд как раз служит примером полного помешательства, одержимости капиталом. В его случае можно даже говорить, как рассудил бы доктор Пилюлькин, о маниакально-депрессивном психозе, в пользу которого свидетельствует вот какой симптом: «если ему удавалось увеличить свой капитал хоть на один фертинг, он готов был прыгать от радости; когда же необходимо было истратить фертинг, он приходил в отчаяние, ему казалось, что начинается светопреставление» [1, с. 253]. Кстати, именно деньги — притом что они постоянно на уме — оказываются зоной интимности, тем, о чем не говорят: «Всё, что касалось денежных дел, Скуперфильд старался сохра-

нять в тайне и никогда не нарушал этого правила» [1, с. 312]. Стоит сказать и о том, что разбудить Скуперфильда можно было лишь одним способом — сказать ему на ухо, что нужно платить. Расплата — способ вывести из сна.

Продажа брендов бредламами, конечно, взывает не к прагматике, а к влечению субъектов маркетинга быть идентифицированными. Напомним, кстати, что сама идея бренда принадлежит маркетинговому капитализму, но при этом восходит к клеймению скота. Здесь кто-то с ужасом воскликнет: неужто человек добровольно позволяет себя клеймить?! На что Вильгельм Райх ответит: нет у субъекта такого желания, которое не было бы инвестировано в социальное поле. Чепуха — скажет кто-то, а Незнайка ответит: «стоит выдумать какую-нибудь чепуху — и тебе все поверят, а попробуй скажи хоть самую чистую правду — так тебе накладут по шее, и дело с концом!» [1, с. 68] Так Незнайка вскрывает бредообразующую подоплеку массмедийного бредлама.



VINT & SHPUNT

ГЛАВА 7

АЛЬФА И МЕМЕГА ТЕХНОНАУКИ

Технонаука. — Знание превращается в информационный товар. — Ученые производят товары. — Лунные астрономы вне технонауки. — Советский Союз как Страна Победившего Университета. — Паранойя технокапитала.

Идеология, которую распространяет массмедийный бредлам, связана, конечно, не с романтическим образом университетского Знайки, и не с инженерами-техниками Винтиком и Шпунтиком, а с технонаукой. Откуда она взялась? — спросите вы. От слияния науки и производства, университета и капитала, — ответит вам Жан-Франсуа Лиотар. Конечно, и университетский дискурс далек от так называемого суверенитета, но при господстве технонауки сам вопрос о какой бы то ни было автономии не стоит. На Луне, кстати, технонаука обернулась вот чем: лунолог Мемега после космической конференции объясняет Незнайке, почему на Луне до сих пор не построили летательных аппаратов. Дело в том, что «у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласит-

ся затратить средства на дело, которое не сулит больших барышей» [1, с. 203]. Место жажды познания занимает жажда наживы. Вот и Лиотар говорит: «Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью и теряет свою „потребительскую стоимость“» [52, с. 18]*. Знание основывается не на истине, а на эффективности его маркетинга-потребления. Вместе с Лиотаром вздыхает лунный астроном Альфа:

> — Лунных богачей не интересуют звезды, — сказал Альфа. — Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги!
> — Да, да! — подхватил Мемега. — Богачи говорят: «Звезды — не деньги, их в карман не положишь и каши из них не сваришь». Видите, какое невежество! [1, с. 204]

Знание — информационный товар, а ученые — его производители и поставщики на рынок. Таковы правила дискурса университета сегодня.

* Здесь стоит сказать, что Хоркхаймер и Адорно обнаруживают идеи технонауки уже у Фрэнсиса Бэкона с его девизом «знание — сила»: «Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал» [77, с. 17].

Так, на смену энциклопедическому знанию советского университета пришла специализированная информация университета капиталистической технонауки. Причем чаще всего поставка инфо-товара оговаривается с заказчиком еще до того, как он произведен. Поставщик инфо-товара на рынок наделен определенным кредитом доверия, благодаря которому он получает установленные кредиты капитала. Рынок не интересует истина, его интерес — набор определенных компетенций, эффективность и продуктивность; только они заслуживают доверия, причем в занесенной в таблицы форме. Включенность воображаемого регистра с его наглядностью и недоверие к слову здесь как будто неизбежны. Незнайка, как мы еще увидим, конечно же, ни в какие таблицы позитивного знания не укладывается. Он — негативен, потому ему и нет места в таблице, в колонках существования. Да и рынок, как известно, Незнайке чужд, ведь там, на рынке, «единственно лишь Всё» [77, с. 60]. Вот и получается, что «в поле Большого Другого — рынок, который тотализирует заслуги, ценности и который гарантирует организацию выбора, предпочтений» [80, p. 17]. Тотализация и подразумевает «Всё». Здесь-то и стоит напомнить, что Большой Другой действует лишь при наличии пробела, интервала, пустого звена в цепи означающих. Символическая матрица работает в силу своей неполноты, в результате того, что она

всегда уже *не-вся*. Появление принципиальной фигуры *Всего* на рынке объясняется, разумеется, не только устремленностью дискурса науки в сторону сферы паранойяльной тотальности, но и тем, что на рынке оказывается такой товар, как *наслаждение*, о чем мы узнаем, как только попадем с Незнайкой и Козликом на остров Дураков. Призыв наслаждаться, царящий на острове, как раз и ведет к животной полноте. Кстати, наслаждение к рынку имеет самое прямое отношение, ведь оно — подобно прибавочной стоимости — *всегда уже* прибавочное. Рынок науки, Университет, Лакан напрямую связывает с капитализацией наслаждения.

Рынок, в отличие от торговли, которая предполагала обмен знаниями и технологиями, предполагает «ликвидацию умения что-либо делать и жить» [88, p. 27]*. И не думайте, что речь идет о так называемом удовлетворении потребностей лунных коротышек. И уж совсем не о том, о чем любил говорить Дзига Вертов: «мне нравятся изобретатели, а не приобретатели». Уж скорее дело в создании этих самых потребностей, которые, в свою очередь, зависят от новых технологий и бесконечных инноваций. Знание строится на расчете, вычислении, и в результате классифицированным и верифицированным оказывается то, что исчисляемо,

* Буквально по-французски речь идет о знании, позволяющем что-либо делать [*savoir-faire*], и знании, на котором строится жизнь [*savoir-vivre*].

в то время как неисчисляемое становится отброшенным в качестве незнания. Но не волнуйтесь, Незнайка выживет!

Между тем нет ничего странного в том, что знание стало попадать в зависимость от кредитов с приходом Современности. Лиотар напоминает: уже Декарт в конце «Рассуждения о методе» говорит, что нуждается в кредите на лабораторию. Чтобы наука была эффективной, она должна быть высокотехнологичной, и нельзя не сказать, что в распоряжении лунных астрономов имеются радиотелескопы, гравитоноскопы и нейтровизоры. В общем получается, как говорит Лиотар, что

> без денег нет ни доказательства, ни проверки высказываний, ни истины. Научные языковые игры становятся играми богатых, или самые богатые имеют больше всего шансов быть правыми. Уравнение состоит из богатства, эффективности и истины [52, с. 109].

Со времен первой промышленной революции уже невозможно представить себе богатство без техники, да и технику без богатства теперь сложно вообразить. Между тем мощнейшим стимулятором слияния науки и капитала стал рост стоимости технологических инноваций в результате космической гонки под названием «Кто первый окажется на Луне».

Времена изменились. Луну оставили в покое. Отныне речь вообще ни о каком знании

не идет. СССР как обитель университетского дискурса скончался. Формула «знание — сила» отошла в прошлое. Речь теперь идет исключительно об информации. Товар — информация. Знание — не товар. Здесь, конечно, возникает навязчивый вопрос о том, кто решает, что есть знание, а что — нет, да и «кто знает, что нужно решать? В эпоху информатики вопрос о знании более чем когда-либо становится вопросом об управлении» [52, p. 28].

Говоря о товарах, кстати, стоит уделить внимание их ассортименту в магазине, в котором оказались Незнайка с Козликом. Магазин называется «Продажа разнокалиберных товаров». Каких только гаджетов здесь нет для совершения преступлений: пистолеты, ножи, финки, кинжалы, кистени и кастеты, наборы воровских отмычек, стальные пилочки, сверла, клещи, кусачки, ломики, фомки для взлома замков, автогенные аппараты, стальные наручники, кандалы, зажигательные и слезоточивые бомбы, усовершенствованные электрические дубинки, стальные прутья для усмирения забастовщиков, наручники, кандалы, слезоточивые бомбы, каски, мундиры, потайные фонари, маски, пистолеты «Тайфун», «Бурбон», «Топсик», усовершенствованные кляпы, удавки из капронового волокна. Владелец магазина, господин Жулио объясняет: «У нас каждый может покупать и продавать что хочет <…> и стрелять никто не может запретить ему, так как это было бы

нарушением свободы предпринимательства» [1, с. 176]. В обществе важна, завершает свою речь Жулио, гармония между преступниками и полицейскими. К тому же все при делах, и нет безработицы. Впрочем, не все так гладко. Гармония то и дело нарушается зеркальным тщеславием, о котором рассказывал Козлик, жаждой наживы, устранением конкурентов, подозрительностью и даже паранойей. Паранойя, похоже, — тоже отличный товар, информационный ходовой продукт. Люди готовы ее покупать. Если раньше можно было услышать такой диалог:

— Паранойя не нужна?
— Спасибо, своя есть.

То теперь должен быть такой:

— Паранойя не нужна?
— Спасибо, лишней не будет! Да, господин. Нет, господин.

Между тем идеология техно-научного капитализма провозглашает: «Считается, что если ты не в состоянии заработать себе на жилище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак и тебе место как раз на острове Дураков» [1, с. 159].



ЛУНОПАРК

ГЛАВА 8
НЕЗНАЙКА — КРИТИК КУЛЬТУРИНДУСТРИИ

Системная глупость на Дурацком острове. — Незнайка борется за депролетаризацию лунных коротышек. — «Общество свободных крутильщиков». — Столкновение Незнайки с лакановским реальным: сон о мазуте. — Индустрия кино производит забвение. — Лунные медиа без дураков. — Карусель Влечение — Повторение — Наслаждение и призыв сверх-я «можешь, значит должен!»

ОНЕТ, остров Дураков, он же Дурацкий остров — не место ссылки. Нет, уж скорей это остров мечты, на который стремятся попасть *как бы* по доброй воле. Ведь здесь есть всё, всё включено, всё, как говорят лунные мечтатели, что нужно для счастливой жизни. Остров — место привлекательное, место привлечения и, как сказали бы психоаналитики, при влечении. При влечении, развлечении и наслаждении. Ох, нелегко здесь думать о последствиях! Ох, нелегко здесь думать.

Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать чем захочешь, и ничего делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да спи, да гу-

ляй сколько влезет. От такого дурацкого времяпровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или овцу [1, с. 160].

Дурацкий остров — остров развлечений, на котором, понятное дело, царит индустрия развлечений. Понятно и то, что, в конце концов, воплощенная на острове культуриндустрия, как и всякая индустрия, должна быть эффективной, должна приносить прибыль. Богачи, которые живут на Дурацком острове, сначала инвестируют капитал в то, чтобы «кормить коротышек, дают им возможность лодырничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой и никаких денег тратить не нужно» [1, с. 160]*. А что дальше? Понятное дело, что: «Богачи заставляют рабочих стричь этих овец, а шерсть продают. Большие капиталы наживают!» [1, с. 160]. В общем, все получается согласно принципу культуриндустрии «бесцельность ради цели, диктуемой рынком», который вытесняет кантовскую «целесообразность без цели».

Так индустрия развлечений оказывается, наряду с массмедиа, принципиальным инструментом системной глупости. Что это еще за глупость такая? А та, что порождается «всеобщей

* «Всем предоставлена свобода танцевать и развлекаться» [77, с. 208].

пролетаризацией» [85, p. 44]*. А что такое всеобщая пролетаризация? Это процесс отчуждения от знания, похожий на тот, о котором писал Николай Федорович Федоров. Да и Жак Лакан считает пролетаризацию отчуждением от знания: пролетарий — тот, кого знание больше не обременяет, «тот, у кого функция знания была отнята» [43, с. 186]. Пролетариат — это не класс, а «экономический исполнитель без знания, поскольку у него нет памяти: его память передана машинам, воспроизводящим жесты» [88, p. 51]. В этом отношении так называемая элита, даже если она причастна Большому Бредламу, как бы парадоксально это ни прозвучало, — тоже являет собой пролетариат. Это, кстати, подтверждает своим замечанием и Козлик: «Посмотришь на такого богача издали — как будто нормальный коротышка, а приглядишься поближе — самый простой баран. Одно только, что деньги у него есть, а дурак дураком,

* Отдельно стоит отметить пролетаризацию мысли, пролетаризацию теоретического, которая неизбежно возникает в связи с тем, что «потребительский рынок предполагает ликвидацию как технических умений, знаний и навыков [*savoir-faire*], так и умения жить [*savoir-vivre*]» [88, p. 27]. Подчеркнем, речь идет именно о системной глупости. Не будем забывать ни о «Похвале глупости» Эразма Роттердамского, ни о том, что человеку может быть стыдно за свою глупость, и именно глупость заставляет его думать, ни о том, что в психоанализе, где говорить нужно все, что приходит в голову, глупость обретает совершенно особенное положение (о чем Лакан детально говорит в своем XX семинаре).

честное слово!» [1, с. 161]. В общем, скоро уже некому будет даже провозглашать: «Пролетарии всех стран, развлекайтесь!»

В этой связи непременно стоит рассказать о тайном *Обществе свободных крутильщиков*. Это общество было организовано коротышками Лос-Паганоса, работавшими крутильщиками чертова колеса. Так вот цель этого общества — сделать всех крутильщиков «образованней и умней» [1, с. 478], иначе говоря, первостепенная задача — депролетаризация крутильщиков чертова колеса. Вклад Пончика в дело этого общества — теоретическая инновация, предлагающая использовать на колесе невесомость. Он делится знанием с другими крутильщиками: если удастся овладеть невесомостью, то, во-первых, куда легче будет вертеть колесо, во-вторых, удастся, наконец, избавиться от хозяев, на которых они работают. Таков эпизод из борьбы крутильщиков Лос-Паганоса с системной глупостью, производящей стандартных, серийных коротышек.

Незнайка с его жаждой знания этой самой системной глупости никак не принадлежит. Об этом говорит его неутолимое желание*.

* Одной из черт капитализма, основанного на маркетинге, как уже говорилось, является смещение эксплуатации с желания на влечение, а сам маркетинг превращается при этом в нейромаркетинг. Бернар Стиглер называет нейромаркетинг наиболее продвинутой стадией пролетаризации [86, p. 222].

Об этом говорит его издевательское «Да, господин. Нет, господин», удваивающее перверсивную логику бюрократического идиотизма. Об этом прямо свидетельствует его понимание необходимости бежать с Дурацкого острова. Нет, Незнайка не так глуп, совсем не глуп, он знает опасности оглупления. Лакан, глядя на Незнайку, говорит: «Не дойдя в глупости до ее детской сути, непременно окажешься в дураках» [50, с. 224]. То, что Незнайка попал на Дурацкий остров, отнюдь не говорит о том, что он в дураках.

Когда речь идет о системной глупости, то, конечно, массмедиа играют в ее поддержании, мягко скажем, отнюдь не последнюю роль. О работе лунных массмедиа мы в деталях узнаем на примере «Давилонских юморесок», одной из газет, принадлежащих господину Спрутсу. Основная цель газеты — явная и скрытая реклама товаров, производимых фабриками Спрутса, а вместе с ней и реклама жизни положительных героев, то есть так называемых респектабельных коротышек. Помимо «юморесок» упоминаются и другие давилонские периодические издания, причем нацелены они на определенную таргет-группу — для тонких и толстых, умных и глупых. Да, да. Есть такая «Газета для дураков». Причем каждый, кто ее покупал, заявлял, что «покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут»

[1, с. 295]. И, конечно, те, кто пишет, тоже себя дураками не считают. Вот так и получается, что те, кто газету делает, и те, кто ее читает, якобы не дураки, но и те и другие верят в существование дураков. Конечно, в поддержании системной глупости участвует далеко не только «Газета для дураков», но именно она служит общим ориентиром. Ведь в лунных городах принято полагать, что существуют левые и правые газеты, но на деле все они принадлежат одной постоянно расширяющейся медиасистеме и берут пример с «Брехенвильской правды». Бизнес, как говорится, есть бизнес, и ничего личного. Все ориентируются на эту «правду», и неважно, как называется газета, «Гвалт ньюс газ» или «Тролль еще та», главное в ней — рейтинги, скандалы и, конечно, криминал-расследования, которые со всей неуемной агрессией обрушиваются на все вокруг — на мир собак и дельфинов, искусства и науки, на коротышек глупых и умных, даже в первую очередь на тех, кого лунные тролль-газетчики не в состоянии понять. Конечно, они же не дураки, даже если работают на «Газету для дураков», даже если они обслуживают пролетаризацию Дрянингопедии. Псевдоправые и псевдолевые, имитируя друг друга во вселенной расширяющегося медиабредлама, как принято в культуриндустрии, возмущены: как кто-то посмел мыслить?! «Вам что, не хватает развлечений?!» — кричат они, заглушая свой собственный слух. Как толь-

ко коротышка, такой как Незнайка, оказывается за порогом системной глупости, на него сразу же набрасываются полицейские разума с медиадубинками. И если, как им кажется, им удается его прибить, то затем они нередко принимаются восхвалять его труп. Ясное дело, труп ведь тоже небезопасен. Любой дурак знает, с привидениями лучше не шутить.

Особое место на Дурацком острове занимает кино, искусство, как известное, наиболее индустриальное. Причем кресла в кинотеатре очень удобные, с откидными спинками, так, чтобы можно было и поспать. Кино — не только самое индустриальное, но и самое идеологическое искусство, прокрадывающееся в бессознательное в полусне кинозала. Кино в лунных условиях может оказаться прекрасным инструментом организации системной глупости и индустриализации бессознательного лунных коротышек. Кино, конечно, бывает разное, но от того, которое показывают в лунных кинотеатрах и, в частности, на Дурацком острове, «можно лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть» [1, с. 499]*. Незнайка читает на афише:

* С этой мыслью, конечно же, соглашаются Адорно и Хоркхаймер, которые пишут, что фильмы, сошедшие с конвейера культуриндустрии воспрещают зрителю мыслительную активиость. Вирилио удивлен той скорости, с которой человечество вместе с промышленным кинематографом «не ведая того, перешло в эру бессмысленной истории без начала и конца, эру противоречащих разуму массмедиа <...> от киематографической оптики и все более специальных

Убийство на дне моря, или Кровавый знак. Новый захватывающий кинофильм из жизни преступного мира с убийствами, ограблениями, бросаниями под поезд и растерзаниями диких зверей. Только в нашем кинотеатре. Спешите видеть! [1, с. 495]*

Что может быть в преступном мире привлекательнее преступного мира?! Массмедиа обслуживает зону криминал-гравитации. О преступниках снимают фильмы и сериалы, слагают песни и предания, открывают для них и их любителей специальные телеканалы и радиостанции, о их жизни и смерти сообщают в новостях. Как говорил судья Вригль: «Красавчик — личность известная! Красавчика все знают. Красавчик — миллионер! Половина полиции подкуплена Красавчиком, а завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит...» [1, с. 168]. Впрочем, сейчас речь не о прославляющих криминал массмедиа, а о другом отделе индустрии развлечений — об острове Дураков, или попросту о Дурацком острове. Кино на Дурацком острове — место, где процесс

эффектов человечество не просто обезумело — у него двоится в глазах» [24, с. 69].

* Мы, конечно, не забыли о кинокошмарах Незнайки и Козлика. Стоит упомянуть и о фильме, который наши герои видят на экране телевизора в номере гостиницы «Экономическая» в Сан-Комарике: «В фильме показывалось, как целая орава полицейских и сыщиков ловила шайку преступников, похитивших какие-то ценности» [1, с. 331]. Похоже, фильмы ужасов, боевики и триллеры — вот что смотрят Незнайка и Козлик. Впрочем, разве дело в этом?

превращения в баранов идет весьма эффективно. Неудивительно, что Незнайка с Козликом с большим трудом на четвереньках, по-животному, выбираются из кинотеатра.

В кино Незнайка побывал еще в Давилоне. Произошло это накануне гибели акционерного *Общества гигантских растений*. Эпизод этот приковывает наше внимание тем, что посвящен он воздействию кинематографа на бессознательное. При чем здесь бессознательное? — спросите вы. И мы вам ответим, что весь этот эпизод начинается с описания сна Незнайки, его ночного кошмара. Сновидение, конечно же, мы приведем полностью:

> Незнайке снилось, будто его непрестанно преследуют какие-то жулики, от которых он прятался то где-то на пыльном чердаке, то в темном подвале. Наконец он спрятался в пустую бочку, но как раз в это время кто-то начал наполнять бочку мазутом. Незнайка хотел вылезти из бочки, но тут чья-то рука цепко схватила его за волосы и не давала даже высунуть голову наружу. Чувствуя, что вот-вот захлебнется в этой черной вонючей жидкости, Незнайка сделал отчаянное усилие и... проснулся [1, с. 286].

Черная, вонючая жидкость указывает на то, что Лакан называет приближением *реального*. К тому же, говорят, слово мазут возникло среди арабских нефтяников, на языке которых *мазхулат* — отбросы. К чему, к тому же? А к тому,

что концептуализация *реального* у Лакана произошла не без влияния Батайя, в гетерологии которого отбросы как раз и есть то, что не вписывается ни в какую систему координат, или, как сказал бы Лакан, они являют собой отход от символического. Впрочем, достаточно и того, что Незнайка с огромным трудом вытащил себя из сна, понятно, как раз в тот момент, когда в своем исследовательском порыве налетел на *реальное*. Воображаемой стороной диалектического отхода от символического и стал мазут. В бодрственной реальности Незнайка, впрочем, надолго не задерживается, и нарратив незаметно вновь погружает читателя в сон героя: он вскакивает из постели, бросается удирать от преследователей, оказывается на железнодорожной станции,

> где стояли цистерны с мазутом. Одна из цистерн была пустая. Незнайка залез в нее, но тут цистерна почему-то начала наполняться мазутом. Сначала мазут доставал Незнайке по пояс, затем по грудь, наконец дошел до горла. Незнайка принялся плавать в мазуте, но уровень жидкости поднимался все выше. Незнайку в конце концов прижало к потолку. Черная тягучая жидкость начала лезть ему в рот и в нос, залепила глаза. Чувствуя, что задыхается, Незнайка закричал изо всех сил и снова проснулся [1, с. 287].

Да, как говорится, проще продолжать спать в реальности, чем то и дело погружаться в ре-

альные отбросы, в отходы от вторичной переработки нефти. К тому же Козлик, который сам натерпелся в ту же ночь своих кошмаров, в духе Фрейда, вспоминает «остатки дневных впечатлений» и дает произошедшему задним числом разумное объяснение: «Это всё от вчерашней кинокартины! <…> Вот всегда: как пойдешь в кино, так потом всю ночь душат кошмары» [1, с. 287], а точнее — кинокошмары. Отчасти Козлик, конечно, прав. Должна же быть хоть какая-то экология бессознательного.

Вернемся на Остров Дураков. Коротышки там делятся по интересам — шарашники, картежники, карусельщики, колесисты, козлисты, чехардисты, киношники… Даже развлекающиеся и то специалисты! Киношники с утра до ночи без разбору смотрели все подряд. Киношники больше, конечно, напоминали теленошников.

Важно, впрочем, во всех этих развлечениях другое: «однообразие в занятиях притупляло умственные способности коротышек, исподволь подготовляя переход их в животное состояние» [1, с. 499]. С чем мы здесь имеем дело? С индустриализацией памяти, с производством забвения. Незнайка и Козлик то и дело забывают о запланированном побеге. Сегодня договорились, а завтра не помнят о чем. Конвейер развлечений подобен конвейеру завода. Шестеренки вращаются все быстрее. Турбокапитализм придает им все более чудовищное

ускорение. Карусель потребления-развлечения — карусель забвения, вращающаяся по орбите влечение — наслаждение — повторение, подготавливающая коротышек к переходу в животное состояние. И переход этот едва ли имеет что-то общее с известным многим — и Францу Кафке, и Гваттари с Делезом, например, — становлением-животным. Почему? — спросите вы. Потому что становление начинается с *желания,* своего рода экстатического желания выйти за пределы того, что принято называть зеркальной формой. В случае индустрии развлечений речь о желании не идет, в ней нет желающего субъекта. Ни у кого из коротышек не было желания превращаться в барана. Пончик, кстати, рассказывая о возможной судьбе Незнайки прилетевшим на Луну Знайке и его экипажу, указывает на то, что превращение в барана хуже смерти:

— Я даже говорить о нем не хочу. Да, по-моему, и нет теперь уже никакого Незнайки.
— Неужели погиб? — опечалились коротышки.
— Если бы погиб, то еще не так страшно, а то ведь превратился в барана! — воскликнул Пончик. — Его сцапали полицейские и отправили на Дурацкий остров, а все, кто попадает на этот остров, рано или поздно превращаются в баранов [1, с. 490]*.

* Невероятные события происходят в Солнечном городе, где Незнайка совершил с помощью волшебной палочки

Пончик, как мы уже знаем, на счет Незнайки ошибался. Отвлечемся на минуту, чтобы сказать: с индустрией развлечений Незнайка впервые сталкивается не на Острове Дураков, а фактически сразу же по прибытии на Луну, как только он попадает в урбанизм Давилона. Коротышке из Цветочного города никогда раньше не доводилось видеть такую мощную иллюминацию, такое количество ярких огней рекламы, столько открытых кафе, ресторанов и великое множество аттракционов: «качели, карусели, спиральные спуски, „прыгающие лошадки", „летающие велосипеды", а также чертовы колеса различных систем и размеров. Все это крутилось, качалось, шаталось, прыгало и брыкалось, и сияло тысячами электрических лампочек» [1, с. 136]. В отличие от турбо-урбанистических кварталов развлечений, центр Давилона, как и полагается,— офисный *downtown*, который ночью пустеет, а днем его заполняют бизнесмены, «деловые коротышки, вся деятельность которых сводилась к выколачиванию фертин-

обратное превращение — ослов в коротышек. В отличие от обычных коротышек, эти «превращенцы» по-прежнему переживали остаток своего прошлого животного состояния. Эти ослы-коротышки и то испытывают желание, в отличие от многих сегодняшних коротышек-не-ослов: «Их все время одолевало желание опуститься на четвереньки и закричать по-ослиному. В результате неудовлетворенного желания их начала грызть тоска» [2, с. 422]. Впрочем, это желание — желание стать-не-коротышкой, то есть утратить вертикальное положение тела и речь.

гов из карманов других коротышек» [1, с. 206]. Бирже в путешествиях Незнайки на Луне уделено особое внимание, ведь именно здесь продаются акции. Рассказывается и о принципиальной роли телефона, и о труде горлодериков, и о связях богатых скупщиков акций с давилонскими газетами, принадлежащими господину Гадкинзу. Богачи, кстати, живут в отдельных, экологически чистых районах лунных городов, как бы ничего не зная о далеких трущобах.

Да, еще одна весьма примечательная деталь: на стене в офисе, который в *downtown* снимают Мига и Жулио, висит, судя по всему, одно из произведений абстрактного экспрессионизма: «в роскошной золоченой раме висела картина с изображением каких-то непонятных цветных кривулек и загогулинок» [1, с. 206]. Незнайка зачастую заглядывается на эту картину и, конечно, стремится понять, что на ней изображено. Козлик не только отговаривает Незнайку от этого занятия, но еще и произносит пламенную речь против такого рода искусства для богатых:

> Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно

> смотришь и ничего не можешь понять — просто мерзость какая-то! А богачи смотрят да еще и похваливают. «Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить» [1, с. 222].

Так и искусство, по крайней мере в трактовке Козлика, делит коротышек на якобы понимающих и непонимающих. Искусственное разделение поддерживает еще одно, не менее искусственное, — на классы. Что бы ни говорил Козлик, Незнайка не зря разглядывал абстрактную картину. Но вот что он в ней усмотрел, этого мы не узнаем.

Вернемся к нашей истории. Итак, Незнайка с Козликом решают бежать с Дурацкого острова. Незнайка, именно он, этот сторонник незнания, одержим желанием бежать. Он окончательно понимает, что пора бежать, когда сталкивается с амнезией. Смутное прозрение наступает у Незнайки к вечеру: «— Ой, Козлик, чувствую, что мы с тобой превратимся в баранов!»

Каков признак барана? Что отличает того, кто теряет память? — Потеря речи. Драматичная сцена: Незнайка понимает, что вот-вот потеряет друга. Друг попал в жернова турбокапиталистической машины развлечений. Друг попался на крючок идеологии «главное не па-

риться». Друг оставил себя в качестве субъекта памяти и истории, подчинившись приказу Другого, господина *сверх-я*: «Наслаждайся!» Приказ этот, скажем, сразу невыполним в том смысле, что за ним всегда следует новый приказ: «Наслаждайся!» Экспансия *сверх-я* с его требованием *можешь, значит, должен* носит космический характер. Парадокс в том, что космос лунного капитализма в своей экспансии безграничен, и тем самым он поддерживает — вопреки своей собственной идеологии — фигуру *не-всё*.

Тем временем колесо системной глупости по приказу внутреннего голоса «Наслаждайся!» превращает на Луне коротышек в животных, баранов, скотину. Таковы метафоры, а животные между тем к глупости уж точно отношения не имеют*. Кстати, Незнайка уже однажды дал отпор полицейскому, когда тот заорал: «Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина?»: «Во-первых, я не скотина, — с достоинством ответил Незнайка, — а во-вторых, у меня нет никаких денег» [1, с. 138]**. Ни скотины ни денег.

* Разве что во французском языке — bête и bêtise; что и позволяет Лакану сказать: «глупость черта скотская, нуждается в пище» [42, с. 21], а пища, разумеется, в поле воображаемого.

** В другой ситуации, когда госпожа Минога назвала Незнайку «отвратительным животным», тот не сумел вставить в свою защиту ни слова. Уж больно госпожа была разгневана, застав его со своими любимыми собаками

Колесо вращается. Скорость превращения в баранов стремительная! В отчаянии кричит Незнайка: «Козлик, миленький, надо бежать, голубчик!» А Козлик в ответ:

Послушай, Незнайка, я до того зар-вер-вер-вертелся, что ни бэ ни мэ не могу сказать.

Пролепетав эти слова, он залился бессмысленным смехом, потом пополз на четвереньках и принялся громко кричать:

— Бэ-э-э! Мэ-э-э! [1, с. 502–503]

в ночлежке, а слова типа «животное» и «скотина» — общепринятые среди лунатиков ругательства. Так, Незнайка, работая специалистом по уходу за собаками, столкнулся с тем, насколько ниже он на социальной лестнице некоторых животных, у которых, например, есть собачьи салоны красоты, собачьи спортзалы, собачьи бассейны, собачьи стадионы, собачьи медицинские центры, собачьи театры, и, разумеется, собачья прислуга по вызову, типа Незнайки.


ТЫ – ЭТО Я! МЫ-НАНО БРАТЬЯ!
ЛУНО-НАНО-МОЗГ

ГЛАВА 9
ОТ БЕДЛАМА К БРЕДЛАМУ

О бедламе и бредламе.—Дебаты о Незнайке в Шанхае на тему, есть ли в нем инновационный потенциал и модернизационные амбиции.—Депролетаризация Незнайки.

Где место того, кто потерялся в неисповедимых путях наслаждения? Где оказывается тот, кто утрачивает память, разум, речь? Понятно где. В сумасшедшем доме, в бедламе, там, где больные, согласно доктору Компрессику, «от происшедшего с ними умственного расстройства начинают воображать, будто их преследуют ведьмы, колдуны или злые волшебники» [1, с. 411]. Об охоте на ведьм, бедламе и бреде преследования — в другой раз, а сейчас о бредламе. Только не нужно думать, что бредлам не имеет ничего общего с бедламом.

> Нужно сказать, что все богачи, жившие в лунных городах, объединялись между собой в сообщества, которые назывались бредламами. Так, например, существовал сырный бредлам, в который входили владельцы сыроваренных фабрик; сахарный бредлам, объединявший всех сахарозаводчиков; угольный бредлам, объединявший владельцев угольных шахт, и так далее. Такие бредламы нужны были богачам для того, чтобы держать в пови-

> новении рабочих и выколачивать из них как можно больше прибылей. <…>. Помимо отдельных так называемых малых бредламов, существовал один так называемый большой бредлам, в который входили представители всех остальных бредламов. Председателем большого бредлама был господин Спрутс [1, с. 245–246].

Незнайка как тот, кому нечего терять, кроме своего незнания, не мог, конечно, входить ни в какие бредламы. Вот и развязался прямо-таки бред вокруг Незнайки в павильоне России на международной выставке Экспо-2010 в Шанхае. Выставки Экспо, которые проводятся аж с 1851 года, демонстрируют всемирные достижения капитализма, индустрии, науки и техники. Символом российского павильона на смотре в Шанхае стал Незнайка, что не могло не порадовать его многочисленных поклонников. Скандал для начала вышел с переводом его имени на китайский язык. Если на английский имя *Незнайка* с горем пополам переводится (*Dunno*, или *Know-Nothing*), то на китайский устроители смотра достижений Всемирного Бредлама его перевели как *Xiǎo Wúzhī*, что в обратном переводе на русский означает «маленького невежду», чуть ли не лакановского *неуча*, расположенного в алгоритме университетского дискурса в месте объекта *a* и потому вполне заслуживающего имени *маленького невежды*. Маленький невежда, этот своеобразный объект *a*, точно не является носителем духа всеоб-

щей эффективности. Он никак не вписывается в техно-научную парадигму, которой движет, как следует из доклада Жан-Франсуа Лиотара, «скорее желание обогатиться, чем познать» [52, с. 110].

Скандал с фигурой Незнайки продолжился, когда о «маленьком невежде» как о символе России узнал ее президент, Дмитрий Анатольевич Медведев, сторонник креативности, эффективности и продуктивности. Президент был возмущен «подменой инновационного потенциала и модернизационных амбиций Новой России небылицами по мотивам сказки Н. Носова о Незнайке». Жаль, что Дмитрий Анатольевич не оказался сторонником «Незнайки на Луне». Ведь именно в знании Знайки из Цветочного города, а уж тем более в паралогическом незнании Незнайки заключен инновационный потенциал. Именно маленький невежда, объект *a* гуманитарного знания *по-своему* способен формулировать модернизационные амбиции во времена когнитивного капитализма. Как это, по-своему? А так, с учетом интересов желающего субъекта с его негативностью, не-знанием, поддерживающим несоизмеримость объекта желания, с его сохранением фигуры *не-всего*, противоречащей движению когнитивного капитализма к полной исчисляемости, соизмеримости, объективации субъекта. Кстати, есть место в книге, прямо свидетельствующее об инновационном потенциале

Незнайки. Так называемый маленький невежда спрашивает при долгожданном воссоединении на Луне двух земных экипажей, встречая Винтика и Шпунтика, не найдется ли у них лишнего прибора невесомости. На вопрос, зачем, следует ответ:

> — Я вот такую штуку придумал. Мы зароем прибор невесомости на острове в землю, тогда вокруг образуется зона невесомости. Воздух над этой зоной уже не будет ничего весить и начнет подниматься вверх, а на его место со всех сторон будет поступать свежий морской воздух. Таким образом атмосфера на острове очистится, и никто уже не будет превращаться в баранов.
> — Гляди-ка,— сказал Шпунтик,— наш Незнайка тоже изобретателем стал [1, с. 506].

Незнайка и сам знает, что поумнел. Глупость его оставляет. Лунная одиссея завершается внутренней революцией и революцией социальной. Незнайка отнюдь не просто стал изобретателем, как говорит Шпунтик. Он, будто следуя за Марксом и Лаканом, утверждает: не может один коротышка обрести свободу, если не свободны остальные; не может он получить удовлетворения, если его не получают другие. Нет коротышки без другого. Нет его без Другого. И перемен в одном быть не может, если их нет в другом.

Незнайка не только сам не превратился в барана, но и воспользовался научным знанием

о невесомости, чтобы предотвратить оглупление лунных коротышек. Депролетаризация, о которой мечтал Николай Федоров, осуществилась благодаря Николаю Носову. И как тут не воскликнуть: «Революция ничуть не умаляется, если касается лишь революций небесных тел на их орбитах» [45, с. 152].

Так, и в истории с восприятием перевода Незнайки на китайский язык книга оказалась противопоставлена жизни. Так мы вернулись к тому, с чего начинался этот рассказ о роли дискурса Незнайки в моей психо-био-танато-графии. Конечно, не хотелось бы завершать на том, что дух всеобщей эффективности чуть было не одержал верх, что вновь Незнайка был приписан сказкам и небылицам, а модернизационные амбиции — правде жизни. Однако это не так. «Сказочный» герой пережил и эту ситуацию. Вопреки приказу президента избавиться от Незнайки, он так и остался символом российской модернизации, тем самым указав на бессмертие нарративного знания во времена уже другого Большого Бредлама. И этого уже более чем достаточно, даже если это еще *не-всё*.



МЕЛАХОЛИЯ НЕЗНАЙКИ
ИЛИ
ОСТРАЯ СОЛНЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ГЛАВА 10
ПОСТРЕВОЛЮЦИОННАЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Катабасис подходит к концу.— Страдания Незнайки: синдром космической адаптации, ностальгия, меланхолия? — Бред о Синеглазке.— Страсти по Солнышку.— Завершение лунной одиссеи.

Последняя глава, «К Земле», хоть и заканчивается счастливо, но практически вся посвящена болезни Незнайки. Можно сказать, что завершив подлунную одиссею, поумнев, став одним из тех, кто совершил революцию на Луне, он впал в постреволюционную меланхолию, ведь цель — а важна именно она — достигнута, революция свершилась. Более того, меланхолия эта могла быть спровоцирована и несколько иной причиной, теоретической, а именно завершением Большого Рассказа. Под этим понятием Жан-Франсуа Лиотара в случае Незнайки имеется в виду и завершение Рассказа об освобождении лунных коротышек от господства капитала, и то, что путешествие закончилось, а вместе с ним и книга. Дело сделано, и что дальше?.. А кто-то найдет состоянию Незнайки другое объяснение: синдром космической адаптации. Такой

синдром, как говорят космопсихологи, возникает в результате длительного переживания состояния невесомости, а уж Незнайке ее досталось немало. Многие симптомы, как мы видим, указывают именно на эту версию: снижение аппетита, головокружение, головная боль, усиление слюноотделения, тошнота, рвота, пространственные иллюзии, атрофирование мышц.

Доктор Пилюлькин придерживается теории ностальгии, он объясняет Селедочке и Знайке, что происходит с Незнайкой: «В том-то и дело, что ничего не болит, но тем не менее он серьезно болен. Болезнь у него очень редкая. Ею болеют коротышки, которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест» [1, с. 523]. И лекарство от этой болезни, разумеется, одно — возвращение на родину. Здесь стоит сказать, что с доктором Пилюлькиным не может согласиться Иммануил Кант, для которого, как говорят, ностальгия была связана не с тоской по пространству, а с тоской по времени. В этом случае Незнайка, завершив свою космическую одиссею, испытывает томление по оставленному по ту сторону познания Незнайке. Он претерпевает буквально утрату себя, себя незнающего. Он чувствует невероятную слабость, затем жуткую тяжесть, но доктор Пилюлькин знает, «что эти болезненные ощущения являются следствием угнетенного психического состояния больного»

[1, с. 536]*. Незнайка утрачивает интерес к внешнему миру, у него нет никаких желаний, а это — уже признак меланхолии. В какой-то момент он чуть было не перестал дышать, затем стал терять сознание. Доктор Пилюлькин принялся его трясти за плечо и кричать: «Незнайка, не спи! Ты должен бороться за жизнь! Слышишь? Не поддавайся! Не спи!» [1, с. 537]. И потом Пилюлькин вновь и вновь, уже после искусственного дыхания и кислородной подушки, будет повторять свой призыв: «Незнайка, не спи!» А между тем, уже в ракете, больной умирающим голосом просит поднести его к иллюминатору, чтобы хоть разочек взглянуть на родную Землю. Он прощается с родиной.

А все началось с того, что однажды Незнайка проснулся и почувствовал, что силы его оставили. Более того, пропало желание завтракать. И затем он вдруг задает свой главный вопрос: «а где же солнышко?» [1, с. 522].

* Здесь самое время вспомнить о том, что первое путешествие Незнайки, на воздушном шаре в Зеленый город, также завершилось эпизодом тоски по родному дому. И в тот раз коротышкам пришлось возвращаться от гостеприимных малышек из-за состояния Незнайки. Правда, все в тот раз было мягче, хоть Незнайка и разрывался между Синеглазкой и родной землей. Интересно, что поводом к возвращению послужила пробудившаяся совесть. Незнайка сообщил доктору Пилюлькину, что его замучила совесть, поскольку он, улетая на воздушном шаре из родных краев, не попрощался со своим лучшим другом Гунькой.

Вопрос о Солнце — это, конечно же, еще и вопрос о Земле. Как только доктор Пилюлькин сообщил Незнайке о решении немедленно лететь к Земле, наш герой повеселел, правда, тут же, будто в бреду, вспомнил о Синеглазке, малышке из Зеленого города, которой нужно немедленно написать письмо, поскольку когда-то, давным-давно он обещал это сделать. У Незнайки всплывает светлое, можно сказать, солнечное воспоминание о чудесной малышке, и он испытывает вину. Знакомство с Синеглазкой, дружба с ней и даже зарождающаяся любовь заслуживают пристального внимания. Ведь именно Синеглазка во время первого путешествия Незнайки — на воздушном шаре в Зеленый город — наставила его на путь учения. Именно она утешила его, сидевшего в слезах под забором, на котором было написано «Незнайка — дурак». Вернувшись из путешествия в Солнечный город, Незнайка рассказывает своему другу Гуньке о том, что сблизился с Синеглазкой, о том, что до этого был очень глупым коротышкой, а теперь становится коротышкой ученым. Первый том приключений на таком превращении Незнайки и заканчивается: наш герой учится красиво писать ради осуществления заветного желания — написать письмо Синеглазке. Ведь на том они и расстались, что малышка кричала ему вдогонку: «Письмо, Незнайка! Письмо!» [3, с. 183].

Видение Синеглазки проходит, а Незнайка на время приходит в себя. Однако постепенно силы вновь его покидают. В следующий раз, когда Незнайка вспоминает о солнышке, он просто теряет сознание, и Пилюлькину приходится приводить его в чувство с помощью нашатырного спирта. Кстати, путешествие в Солнечный город закончилось тем, что Незнайка и его друзья стали солнечными братьями и сестрами.

Вопрос о Солнце — это вопрос возвращения на поверхность после подлунного катабасиса. Именно через означающее, можно было бы даже сказать, через это Имя-Отца, «Солнышко» Незнайка претерпевает ресубъективацию. Такова истина, на сей раз в понимании Лиотара, для которого она принадлежит не порядку значения текста, а его работе, его силе, его преобразующей функции. Иначе говоря, дело не в том, что значат те или иные слова истории, и даже не в том, как говорится, что содержится между строк, а в том, какое она оказывает влияние. Как утверждал волшебник: «На коротышек книги всегда хорошо действуют. Они не действуют только на натуральных... так сказать, прирожденных ослов» [2, с. 486]. В «Незнайке на Луне» преобразующая функция очевидна. Космическая одиссея Незнайки предписывает его преобразование, если не сказать преображение. Он утрачивает себя, чтобы обрести себя другого. Его спасает Мать —

Сыра Земля, к которой он в страсти припадает. И вот Незнайка «выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся…» [1, с. 542]. Будто с Луны свалился, и это, конечно, *не-вся* история о том, как благодаря этому коротышке менялась жизнь отдельных его почитателей.

НЕЗНАЙКА,
ИЛИ ИСТИНА КОММУНИЗМА

Он [коммунизм — *А. П.*] —
решение загадки истории, и он
знает, что он есть это решение.
К. Маркс

С этой историей случилась
история...
Н. В. Гоголь


ГОГОЛ
МЕРТВЫ
ДУШИ
НЕТ ТАКОГО ПРЕСТУПЛЕ-НИЯ...

ГЛАВА 1
МАРКС, ГОГОЛЬ, НОСОВ:
ТРИ АНАЛИТИКИ КАПИТАЛИЗМА

Две главные книги о капитализме: «Капитал» и «Мертвые души».— Трехчастная структура и незавершенность этих книг.— Экономика, диалектика и тринитарное богословие.— Значение трилогии о Незнайке Николая Носова на фоне этих книг.

Среди величайших книг о капитализме первая — это, безусловно, «Капитал» Карла Маркса. Здесь, как все вы знаете, «капиталистический способ производства» становится предметом политико-экономического (и шире — социально-философского) анализа. Вторая, возможно — это «Мертвые души» Николая Гоголя. Здесь капитализм, отраженный в сознании (и преломленный в экзистенции) отдельно взятого персонажа, становится темой художественного изображения. Между «научностью» первой книги и «поэтичностью» второй грань вполне проницаемая, и они явно способны комментировать друг друга, выступая единым фронтом. К тому же их сближает два характерных момента — во-первых, аналогичность структуры: замысел обеих книг предполагает трехчастное

строение, что указывает на явную связь с диалектической формой мышления (а это означает, что всякое отдельно взятое положение главных книг Маркса и Гоголя должно рассматриваться не само по себе и даже не просто в «контексте целого», но — в строгом соотнесении с трехчастной логикой этого «целого», выступая не более и не менее чем в трех своих ипостасях, каждая из которых представляет некий существенный момент в раскрытии содержания данного положения); во-вторых, налицо явное сходство судеб: оба произведения остались, пусть и в разной мере, но всетаки незавершенными — а значит, интерпретатор их смысла должен, помимо понимания «духа», еще и на свой страх и риск дописывать их «букву».

Возможно, впрочем, что диалектичность и незавершенность принципиально взаимосвязаны. Из истории мысли известно, что античная (платоническая) диалектика берется на вооружение христианским тринитарным богословием — а ведь в последнем именно «вторая ипостась» изначально мыслится как «экономика»*, которая именно в капитализ-

* Ср.: «По своему бытию и сущности Бог, безусловно, один; но в том, что касается Его экономики, то есть способа, которым Он администрирует Свой дом, Свою жизнь и мир, который создал, Он, напротив, троичен. Как добрый отец может доверить своему сыну выполнение определенных заданий и функций, не теряя при этом своей власти

ме найдет высшую форму своей реализации. И Маркс, и Гоголь мыслят *изнутри* капитализма. Первый, пусть и прогнозируя коммунизм (Царство Духа), тем не менее говорит о потенциально бесконечном характере желания капиталиста производить прибавочную стоимость, которая в отношении стоимости первоначальной выступает как бог-сын в отношении бога-отца [57, с. 165] (так что в *рамках* капиталистической формации никакого «завершения» нет и быть не может). Второй, как известно, мечтает о превращении Чичикова в «честного предпринимателя» (чей частный интерес в итоге совпадет с интересом всеобщим), но «убогость» (по выражению Андрея Белого) данной тенденции не позволит завершить поэму, что опять-таки будет свидетельствовать о сущностной неспособности капиталистического предприятия прийти к завершению.

История этой незавершенности сама, таким образом, оказывается незавершенной. И представляется, что совершенно особое место в ней принадлежит циклу о Незнайке Николая Носова. То, что тема капитализма (и, соответственно,

и своего единства, так и Бог вверяет Христу „экономию", администрацию и управление историей людей. Термин „экономия" специализируется, чтобы отныне обозначить воплощение Сына — экономику искупления и спасения. Поэтому в некоторых гностических сектах Христос в итоге именовался „человеком экономики" (ho anthropos tes oikonomias)» [8, с. 22].

социализма и коммунизма) является для этого цикла центральной, доказывать вряд ли необходимо — это знает каждый, кто хотя бы понаслышке знаком с его содержанием. Но, помимо этого, здесь налицо не только та же форма трилогии, но и полностью завершенный авторский текст! Последнее, конечно, можно объяснить не только субъективными, но и объективными обстоятельствами — ведь, в отличие от Маркса с Гоголем, Носов пишет свой текст изнутри победившего социализма и побеждающего коммунизма — и именно потому его объективно (вслед за самой историей) *дописывает*. Но только вот что любопытно: завершающая часть трилогии оказывается почему-то посвященной капитализму! Как если бы путешествие в Солнечный город (место, где построен «развитый социализм») приводило к обнаружению таких противоречий, разрешить которые было возможно лишь погрузившись в «сердце тьмы», в дебри дикого «внутрилунного» капитализма*!

* Предположите невероятное — что «Мертвые души», как они дошли до нас, *на самом деле* закончены! Второй том «не дописан», поскольку и дописывать-то нечего (сама заявленная тенденция, как было сказано, *убога*) — но тогда не будет ли играть роль третьего тома поэмы о похождениях Чичикова «вставная» повесть о Капитане Копейкине? И тогда «Незнайку в Солнечном городе» нужно сопоставить именно со вторым томом гоголевской поэмы (у Незнайки и у Чичикова «пробуждается совесть»; деловитый, но нервный инженер Клёпка явно похож на пред-

И все-таки, скажут, если Маркса с Гоголем еще хоть как-то можно рассматривать как однопорядковые величины, то уж Носов — это автор явно другой (очевидно, несравненно более низкой) весовой категории! С этим, конечно, можно согласиться, но аргумент «неравноценности» здесь точно не должен быть определяющим. Потому что гораздо важнее тот факт, что именно трилогии Носова было предназначено сформировать первое представление о политической и социально-экономической картине мира у того поколения наших соотечественников (жителей тогда еще социалистического отечества), которому как раз и выпало на долю совершить выход в открытый космос капитализма. Вот почему сегодня интересно перечитывать Носова не только как утописта («Незнайка в Солнечном городе») или сатирика («Незнайка на Луне»), но прежде всего как необычайно точного картографа того будущего путешествия, которое сегодня давно уже стало неотъемлемой частью истории настоящего: маршруты, дистанции, техники их преодоления и стратегии покорения, концептуальные персонажи и векторы сил — как если бы тексты Носова служили нам путеводителем в нашем реальном путешествии по «Внутренней Луне» (месту, где «земная жизнь» с ее «гигантскими

приннимателя Костанжогло н т.д.), а лунную одиссею — с петербургскими мытарствами офицера-инвалида...

растениями» теперь нам кажется или наивной фантазией о некоем «неземном бытии», или, напротив, злокозненной выдумкой тех, кто хочет околпачить нас, «честных коротышек»*).

* Ср.: «Удивительно и то, что книга не устаревает, наоборот — приобретает остроту в нашей иынешней жизни, временами до боли напоминающей эпизоды из „Луны". Большинство из нас оказались как бы на новой плаиете: и доверчивые олухи-аутсайдеры вроде Незиайки, и неудачливые эгоисты-бизнесмены вроде Пончика. Кого подкупают скуперфильдовскими сосисками, кого гоняют по звону колокола от столовой к карусели, от каруселн — к кииотеатру. А наши новоявленные „хозяева жизии" действуют точно по методу Спрутса и Жулио: „— У вас, голубчик, в этой комнате слишком много скопилось дряии... Одиако убирать здесь ие стоит. Мы попросту перейдем в другую комнату, а когда насвиним там, перейдем в третью, потом в четвертую, н так, пока не загадим весь дом, а там видно будет". Только вряд ли нас прилетит спасать пароход „на крыльях невесомости". Подниматься иад этим безобразием придется самим» [40].


СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ! С.. ПАКЕТИКОМ...

ГЛАВА 2
«БУБЛИК У МЕНЯ ОТНЯЛИ, ПО ШЕЕ МНЕ НАДАВАЛИ», ИЛИ ЧЕМ ПАХНЕТ КАПИТАЛИЗМ?

Луна как общее место Гоголя и Носова.— Тема «спасения луны» в «Записках сумасшедшего».— Поприщин как Незнайка.— «Первосцена» Незнайки: столкновение с жуком как всемирно-историческое событие.— «Вылизывание» комет.— Лунология и назология.— «Эффект бублика», или О грехопадении Козлика.— Вид и запах.— Историческая судьба и культурная функция обоняния по Фрейду.— Кинология и собственность.— Чем пахнет капитализм.

Если в концептуальном плане Носов явно будет базироваться на марксистской философии и политической экономии, то в плане художественном имеет смысл рассматривать его как продолжателя гоголевской линии в изображении капитализма. Возможно, второе утверждение далеко не столь очевидно, как первое, поэтому требует дополнительного обоснования. Разумеется, преемственность* эта

* Эта преемственность, впрочем, уже становилась предметом анализа. Так, Илья Кукулин правомерно называет описание Носовым внешности лунных миллионеров Жадинга и Скуперфильда «ремейком» начала гоголевской

зиждется не только на «фамильном сходстве» (имя автора трилогии о Незнайке производно от излюбленной части тела его великого тезки), но прежде всего на их верности некоему *общему чувству*, выражением которого может служить, к примеру, хотя бы обращение обоих авторов к лунной (а в пределе, к космической) тематике. Вспомните нешуточную тревогу «сумасшедшего» Поприщина (записано в Мадриде, февруария тридцатого):

> Оставшись один, я решил заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов

«Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [39, с. 228]. Говоря же об интриге цикла о Незнайке в целом, Марина Загидуллина отмечает, что «внутри сюжета путешествия у Носова спрятан классический сюжет самозваиства — гоголевский „Ревизор“» [33, с. 207]. И Незнайка, и Хлестаков сходны в том, что оба воплощают некие непрерывно действующие «машины желания», однако важнее различие, обнаруживаемое между ними в моральном плане, — если Хлестаков для Гоголя это «ноль» как пустое «место проекции», позволяющее вскрыть механизмы жизни провинциального городишки, то «Носову важно, что его персонаж с „нулевым“ именем постоянно всерьез переживает происходящее с ним, пусть с трудом, но подчиняясь своей „подружке“ совести, как он сам ее называет» [33, с. 215]. — Тема имени очень важна как для Гоголя, так и для Носова, о чем подробно будет сказано ниже.

совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимания Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что, дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля — вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтобы дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну [30, с. 192–193].

Михаил Вайскопф детально реконструировал те источники, на которые опирался Гоголь и откуда могло быть позаимствовано содержание поприщинского бреда — это целый пласт «духовной литературы», от гностических интерпретаций платоновского «Тимея» до современных автору «Записок сумасшедшего» масонских и околомасонских сочинений. Сам Поприщин, к примеру — это классический «непризнанный царский сын», который вдруг

прозревает и осознает свою миссию («Спасем луну!»). Между прочим, в своей книге Вайскопф прямо именует прообраз подобного персонажа «Незнайкой» — в главке «Христос-неумойка», в контексте анализа «Шинели», сказано: «... Приметы отверженного романтического героя, съежившегося до „маленького человека", социального аутсайдера, ориентированы на образ фольклорного персонажа, связанного с золой и нечистотами (таково одно из значений сажи, которой „вычернил" Башмачкина трубочист) — на сказочного Запечника, Неумойку или *Незнайку* (выделено мной — *А. П.*)» [21, с. 421]. Что до космической, планетарной символики, то она отсылает к мифу о «злом демиурге», порождение которого должно быть преодолено в «софийном освобождении» (по Вайскопфу, это общее место едва ли не всех гоголевских сочинений). Но самым интересным в данной интерпретации представляется трактовка очевидно амбивалентной оценки Луны, даваемой Поприщиным: то она «прескверно делается» хромым бочаром-немцем (очевидно, чертом), «понятия не имеющим о луне»; то, напротив, она предстает «нежным шаром», которому грозит страшная опасность и который непременно надо спасти (как место обитания носов наших). Вайскопф видит здесь совершаемый Гоголем переход от гностического акосмизма к «космическому охранительству», являющемуся, в свою очередь, «симптомом охранительства казенно-

националистического, которому еще предстоит расцвести в позднем гоголевском творчестве» [21, с. 389]). Итак, с одной стороны, «космический бунт», «стремление Поприщина вырваться как из планетарного плена, так и из пут хронологии, сказавшееся в эпатирующей ахронности заключительных записей» [21, с. 399], но с другой — «космическая Русь», когда финальные «контуры загробной деревенской родины и образ матери получают очень важное концептуальное дополнение, связанное с планетарной символикой. Сперва, в сумасшедшем доме, дрянной луне хромого бочара противопоставляется „нежный шар", а теперь, в сцене полета, — поэтический „месяц", орденской звезде черта — настоящая „звездочка". Тема космической тюрьмы переброшена в теософскую тему первозданной чистоты и благостности, утраченных миром в акте падения» [21, с. 403–404].

Жиль Делез и Феликс Гваттари показали, что бред психотика (включая его параноидальный и шизофренический полюса) выражает собой великий протест против капиталистической невротизации субъекта. Но разве в «лунологическом» безумии Поприщина потенциально не заложено то освободительное движение, логика которого благодаря Носову и его Незнайке станет однажды доступной даже ребенку? Судите сами: тема полета и «спасения Луны» (из капиталистического плена!) налицо, здесь какие-либо комментарии излишни. Но вот — первое за-

труднение: у Гоголя Поприщин хочет спасти Луну от «тяжелого вещества» Земли, да еще при помощи полицейских сил — у Носова же лунная полиция защищает именно капитализм с его несомненными жизненными тяготами для трудящихся от несущих освобождение землян (конец капитализма обеспечат доставленные ими семена «гигантских растений»). Однако это затруднение разрешается, как еще не раз будет показано, вот каким образом: подлинное различие пролегает не между Землей и Луной как физическими телами, но между их метафизическими сущностями, порядок которых по определению не совпадает с пространственным расположением материальных явлений (именно поэтому *метафизик* Незнайка всегда уже «с Луны свалился», внутри же самой Луны существует тело, которое живущими там лунатиками считается Землей — и о котором, кстати сказать, изначально ничего знать не знает *физик* Знайка). К тому же и земное изобилие в описании Носова не выглядит столь уж благостным: вспомните те же арбузы в Зеленом городе — один разросся так, что из-за него даже дом рухнул! Чем вам не пример «тяжелой материи»?

Другой важный момент — принципиально всемирно-исторический, планетарный, космический масштаб бреда Поприщина (не умещающийся в душных пределах родительской спальни: мать если и появляется, то в полете, среди светил и мировых линий — исторических и по-

литических) совершенно аналогичен мировосприятию Незнайки! Более того, Незнайка позиционируется Носовым как «космолог» и «космонавт» с первых же страниц трилогии (где ни о какой ракете даже речи быть не могло — самое большее, о воздушном шаре и парашютах из одуванчиков!) — имеется в виду самая первая история, которая произошла с Незнайкой и благодаря которой он «особенно прославился»:

> Однажды он гулял по городу и забрел в поле. Вокруг не было ни души. В это время летел майский жук. Он сослепу налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка кубарем покатился на землю. Жук в ту же минуту улетел и скрылся вдали. Незнайка вскочил, стал оглядываться по сторонам и смотреть, кто это его ударил. Но кругом никого не было.
>
> «Кто же это меня ударил? — думал Незнайка. — Может быть, сверху упало что-нибудь?»
>
> Он задрал голову и поглядел вверх, но вверху тоже ничего не было. Только солнце ярко сияло над головой у Незнайки.
>
> «Значит, это на меня с солнца что-то свалилось, — решил Незнайка. — Наверно, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове» [4, с. 11].

Затем, разумеется, представители «строгой науки» Знайка и астроном Стекляшкин объявят Незнайку болтуном (Носов по понятным причинам обходится без психиатрических клиник, но у доктора Пилюлькина всегда найдется ка-

сторка для диссидентов*). Но сколь показательно содержание этой «болтовни»! Личное происшествие мгновенно встраивается в порядок вселенского устройства — щелчок по затылку рассматривается как происшествие едва ли не мирового масштаба! И совершенно не случайно, что первая книга трилогии («Приключения Незнайки и его друзей») завершается также «космической нотой»: Незнайка, учась писать, сажает в тетради многочисленные кляксы, и, слизывая их языком, превращает в хвостатые «кометы» [5, с. 192], то есть буквально *творит* космос (а если быть точнее, то налицо полный космогонический цикл: 1. появление кляксы, то есть стихийное самозарождение хаотической материи; 2. придание этой темной материи посредством «вылизывания» некой характерной, узнаваемой «умной» формы; 3. завершение «вещи» в акте ее наименования «кометой»). И если «для Поприщина Китай и Испания — действительно „одна и та же земля“, земное царство зла и бессмыслицы» [21, с. 401], то и Незнайке тоже интересно видеть в мире «сплошное единство» его сторон и измерений, сколь бы очевидны ни были их различия (природные, технико-экономические или социокультурные): что-то вроде «космической республики» идиотов, фантазеров и неудачников...

* В интерпретации Петра Мамонова и «Совершенно новых звуков Му» доктор Пилюлькин неслучайно предстает поистине зловещим персонажем.

Но самый важный момент связан, конечно же, с носами, живущими, по версии Поприщина, в Луне. В самом деле, следует подчеркнуть, что Гоголь помещает их именно *внутрь* Луны, а не размещает на ее поверхности — и точно также Незнайка первым открывает *внутрилунное* пространство именно как пространство жизненное! Но почему же именно носы? Разве в текстах Носова «лунологический» аспект находится в какой-то принципиальной связи с «назологическим»? Чтобы преодолеть это новое затруднение, следует дать слово коренному лунатику, Козлику, который так описывал Незнайке случай, послуживший причиной его тюремного заключения:

— А ты за что в каталажку попал? — спросил Незнайка.

— За то, что бублик понюхал, — признался Козлик. — Ты не думай, я вовсе не вор. Просто я слишком долго ходил без работы. Все деньги, которые у меня были, проел, все, что у меня было, продал и стал голодать. Однажды два дня подряд совсем ничего не ел. На третий день шел мимо булочной. Думаю: зайду посмотрю хоть, какие булки бывают, может быть, аппетит пропадет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики. Всё пахнет так, что одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. Я взял один бублик, понюхал. А хозяин заметил. Как схватит меня за руку и давай звать полицейского. «Он, говорит, хотел у меня бублик съесть». Что тут было! Бублик у меня отняли, по шее мне надавали да еще на три месяца засадили в кутузку [5, с. 170].

Казалось бы, приводя этот рассказ, Носов здесь преследует единственную цель — произвести наиболее суггестивное воздействие на читателя, вызвать едва ли не физиологическое ощущение мук голода (в духе Кнута Гамсуна), тем самым не давая превратиться представлению об «ужасах капитализма» в пустую фигуру речи. Эффект, подобный «гуманному месту» из «Шинели»: «Зачем вы меня обижаете?», с той только разницей, что здесь изначально ясно зачем — голодный Козлик сытому булочнику не брат. Но важно, разумеется, как сделано это описание — и не в плане авторской манеры, которая якобы первична по отношению к содержанию, а в плане тех объективно существующих космических сил, действия которых выражают персонажи своими поступками и чувствами. В самом деле, во-первых, налицо (якобы) нарушение прав собственности и, в противовес, апелляция к (якобы) нерушимому характеру таковых; во-вторых, визуально представленный ассортимент хлебобулочных изделий (где каждое изделие четко вписано в границы своего «вида» или «класса»: пончик, ватрушка, бублик и т. д.) — и, напротив, данное посредством обоняния мгновенно теряющее все свои внутренние различия «всё» («всё пахнет так, что одуреть можно»: речь уже о абстрактной еде, провизии как таковой!). Понятно, что «вид» и «запах» способны обмениваться друг с другом своими энергиями: иногда от одного вида становится дур-

но, как от сильного запаха; иногда запах (аромат, букет) должен еще больше индивидуализировать вид, подчеркнуть его эксклюзивность. «Эффект бублика», послуживший причиной «грехопадения» Козлика, в том и состоит, что его «внешний вид» (в силу предельно сокращенной дистанции: «а тут бублики прямо на прилавке лежат») буквально весь перешел в свой запах («свой»! но разве собственный запах еды в силу собственной же природы запаха не есть *естественное* нарушение границ чего бы то ни было «своего, собственного»?), так что движение рук два дня не евшего коротышки принадлежит уже не столько внешнему пространству видимости, сколько внутреннему пространству обоняния — когда же еще, как не в период голодного головокружения, единство, со-плотность «внешнего» и «внутреннего», «своего» и «чужого» переживаются с несомненной очевидностью? С беспощадной откровенностью эта ситуация представлена в «Мелодии для шарманки» (фильм 2009 года) Киры Муратовой: полная блокировка доступа к хлебу всевозможными средствами «защиты прав собственности» — и в итоге мертворожденный Христос (сын, не воссоединившийся с отцом, и брат, покинувший сестру-Софию), заикание волхвов-пролетариев (у Носова Козлик тоже заикался, вспоминая о своей разбитой машине, с которой начались все его бедствия) и покидающий раз и навсегда землю Святой Дух.

Но, скажете, запах — это ведь прежде всего знак вытесненного бессознательного влечения, об этом и знаменитый австрийский химик Фрейд пишет. В самом деле, в «Неудобствах культуры» говорится об «отступлении на второй план обонятельного раздражения» (в качестве главного возбудителя сексуальности), роль которого берет на себя «зрительное раздражение, способное в противоположность непостоянным обонятельным раздражениям действовать непрерывно» [75, с. 315]. Психоаналитическое толкование здесь ничуть не противоречит политико-экономическому: «обонятельное непостоянство» есть знак неопрятности и неаккуратности, очевидно, и в финансовых вопросах (деньги *не должны* пахнуть!), в то время как «зрительное непрерывное действие» есть знак противоположного — состоятельности «в чистом виде», способности содержать свое хозяйство в чистоте и порядке. Крайне показательно то, как Фрейд завершает свое рассуждение о судьбе нашего обоняния («носов наших»):

> Неопрятный человек, то есть тот, кто не скрывает свои экскременты, тем самым оскорбляет другого, не уважает его, и об этом, безусловно, свидетельствуют самые сильные и употребительные ругательства. Иначе было бы непонятно, почему человек имя своего вернейшего друга из животного мира употребляет как ругательство, не вызывай собака пренебрежение людей к себе двумя свойствами: тем, что она является животным с тонким

обонянием, не испытывающим отвращения к своим экскрементам, и тем, что она не стыдится своих сексуальных действий [75, с. 316].

Фрейд здесь попадает в самую точку — и это точка схождения противоположностей: собака является действительно «интересным животным», причем в буквальном смысле inter-esse, бытия-между — между миром запахов, миром вытесненного (с которым в силу развитого обоняния она имеет самый непосредственный контакт, благодаря чему ее имя становится ругательным) и миром видимого, миром «эйдосов» как миром вытеснения (границы которого она охраняет, в силу чего и оказывается «вернейшим другом»). Термин «эйдос», конечно же, употреблен неслучайно, ведь именно Платон изображает стражей в своем проекте идеального государства по образу породистых щенков, которые ластятся к своему, но при этом готовы разорвать в клочья чужого (к примеру, изгнанных из города «неправильных» поэтов, музыкантов, художников — то есть всякого рода «незнаек»); более того, характер породистых щенков Платон объявляет ни больше ни меньше как «подлинно философским», поскольку «о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает она его или нет» [62, с. 375–376]. Далее: кто, как не собачонки, Меджи и Фидель, являются посредниками между низшим миром «титулярных советников» и высшим миром «директорских дочек», будучи как бы носом

Поприщина, благодаря чему он и вкушает неземной аромат идеальной жизни («Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, — вот куда хотелось бы мне! в будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно (ср. с описанием хлебобулочного ассортимента у Носова в сцене с Козликом. — *А. П.*); как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье» [30, с. 180] — заметьте, что желание *взглянуть* направлено на предметы, очевидно предназначенные скорее для обоняния, чем для разглядывания: даже платье «больше похоже на воздух, чем на платье», прям-таки *лунные* Елисейские поля, а не платье!) — аромат, сводящий его в итоге с ума!

И, наконец — именно с помощью собак в первый же день своего пребывания на Луне Незнайка должен будет узнать, чем на деле пахнет «частная собственность» (а следовательно, и капитализм). Пахнуть она, как известно, должна дубинкой полицейского (в годы Перестройки, между прочим, она была названа «демократизатором», хотя куда точнее ее следовало бы окрестить «либерализатором»):

> — Что это, по-твоему? — спросил полицейский. — Ну-ка понюхай.
>
> Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки.
>
> — Резиновая палка, должно быть, — пробормотал он.

> — «Резиновая палка»! — передразнил полицейский. — Вот и видно, что ты осёл! Это усовершенствованная резиновая дубинка с электрическим контактом. Сокращенно — УРДЭК. А ну-ка, стой смирно! — скомандовал он. — Р-р-руки по швам! И никаких р-разговоров!
>
> Незнайка машинально поднял голову и вытянул руки по швам. Полицейский ткнул его кончиком дубинки в лоб. Раздался треск. Незнайку ударило электрическим током, да так сильно, что искры полетели из глаз, в голове загудело, и он зашатался, не в силах устоять на ногах [5, с. 139].

Но этот урок Незнайка усвоит несколько позже, поскольку поймавший его за поеданием «своей» малины господин Клопс предпочтет «законному ходу дела» отпустить «вора», предварительно спустив на него своих псов, Милордика и Цезарино. Однако точно так же, как незадолго до этого господину Клопсу никак не удавалось насладиться чаем и хлебом с маслом из-за множества носившихся над ним мух, так и на этот раз приятное и поучительное зрелище неожиданно переменило характер — в азарте погони Незнайка и преследующие его по грядкам с клубникой псы неожиданно для самих себя нашли общий интерес и мгновенно превратились в какое-то коллективное существо, в машину по непроизводительному разрушению частной собственности! Цезарино даже получил вместо Незнайки пулю от своего (бывшего?) хозяина…


БОРОДАТЫЕ ДЕТИ, БЛИН!
ТАКОЙ БОЛЬШОЙ, И БЕЗ БОРОДЫ!

ГЛАВА 3
«ЕЩЕ НЕ ДОРОСЛИ ДО МОЕЙ МУЗЫКИ», ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ БЫТИЯ

Сущность «космического коммунизма бытия» по С. Булгакову.— Обесценение этой сущности «научным знанием».— Знайка и Незнайка: проблема имени собственного.— Два типа имен у Носова.— Коммунистический «трансцендентальный субъект».— Онтологический смысл имени (на примере «пончика/Пончика»).— Имя существительное и «местоименный жест».— Знание Знайки как функция «чрезвычайного положения».

ЭПИЗОД с майским жуком вводит тему *космического* (*или физического*) *коммунизма бытия*. В самом деле, на первый взгляд описанное Носовым событие выглядит «детской версией» следующего положения из «Философии хозяйства» (1912) Сергея Булгакова:

> Единство вселенной имеет аксиоматический характер для всего мироведения, им обосновывается непрерывность причинной связи, ее проникающей и устанавливающей физический коммунизм бытия. То, что я вожу сейчас пером по бумаге

и произвожу новое размещение атомов чернил, бумаги, стали пера и пр., рассуждая принципиально, есть такое же космическое событие, как астрономические или геологические катастрофы (сравните с «вылизыванием» комет Незнайкой. — *А. П.*), ибо изменяет физическую картину мира так же, хотя и с меньшей силой (впрочем, даже и этого нельзя сказать, ибо отсутствует соизмеримость этих событий), как и эти катастрофы. Сейчас, когда я сижу за этим столом, я испытываю на себе всю бесконечную сложность положнтельных и отрицательных влияний космических сил, и не только отдаленного от нас миллионами километров солнца, но и всех видимых и невидимых нам мировых солнц [18, с. 109].

Как кажется, высказан достаточно банальный метафизический тезис об априорной универсальной взаимосвязи мировых явлений («знаем, знаем!», скажут «знайки»; что ж, «знайкам» разрешается зевнуть) — в самом деле, в абстрактном, изолированном виде с этой мыслью как бы совершенно нечего делать («да, наверное, в пределе все обстоит точно так, как было сказано, ну и что с того?»). Впрочем, сам Булгаков, похоже, прекрасно предвидит такую скептическую реакцию и потому тотчас же специально указывает на позицию последовательного прагматика (цитируя в этой связи Курно):

«Никто не будет всерьез принимать, что, топая ногой, может повлиять на движение корабля, плывущего по водам противоположного полушария, или

> сотрясти систему спутников Юпитера: влияние, во всяком случае, было бы столь ничтожно, что не обнаружилось бы ни в каком уловимом для нас действии, и мы совершенно вправе с ним не считаться» [18, с. 109].

Это, действительно, крайне симптоматичное высказывание — им не отрицается сам факт «физического куммунизма бытия», но отрицается возможная прагматическая *ценность* данного факта с точки зрения научно-технического взгляда на вселенную. Строго говоря, наука имеет дело не с миром, а с некоторым его аспектом, представляющим в данный момент интерес для некоторого же субъекта; поэтому можно сказать, что «для науки таких миров не два, а *n*, неопределенное количество, это вытекает из ее свойств (...), но эта практика науки не подрывает, а скорее даже предполагает философскую идею о единстве мироздания, а стало быть, и непрерывности причинной связи» [18, с. 110]. Важно, однако, что эта, как и любая другая подлинно «философская идея», существует исключительно как *вытесненная* в рамках «строго научного» (и «прагматически ценного») подхода — а следовательно, имеет статус не столько знания, сколько *незнания*. Более того, незнаемость такого рода сугубо философских вещей с необходимостью предполагается знанием «научным».

В коротышечной вселенной Носова, как всем известно, центральными персонажами являют-

ся герои-антагонисты, имена которых — Знайка и Незнайка. Тема же *имени* сразу переключает внимание с уровня исключительно природных процессов (так сказать, немых и объективных) на уровень социальных (интерсубъективных) отношений и языковой деятельности (поскольку нет социального без его высказанности); совершенно закономерно, что и сюжеты, затронутые Булгаковым в «Философии хозяйства» (тот же «физический коммунизм бытия»), достигают своей кульминации в его более поздней книге «Философии имени».

Первое, на что нужно обратить внимание, — это принципиальное отличие характера имен только что названных персонажей от имен всех прочих коротышек, будь то земляне или лунатики: имена Знайки и Незнайки указывают на важнейшую *общекосмическую* силу, которую в эксклюзивном порядке представляет собой именно человек — силу (не)знания и внутренне присущую ей диалектику, — в то время как имена прочих (всех этих Винтиков-Шпунтиков, Пончиков-Сиропчиков, Мшиглей-Гниглей, Скрягинсов-Жадингсов и т. п.) прочно закреплены за *частными* родами и видами внутрикосмического сущего. Можно предположить, что имена Знайки и Незнайки в чем-то подобны «княжеским» (Владимир, Святослав и т. п.), с их принципиальным отличием от тех, что были положены простолюдинам (Козел, Капуста и т. п.) — это имена тех, кто выступает

собственником *всего* бытия (владетелем мира), а не той или иной *частной* «собственности». Таким образом, Знайка и Незнайка в совокупности указывают на инстанцию *трансцендентального субъекта* в буквальном смысле этого слова: на то и на того, что и кто выходит и выводит за пределы всех этих родов и видов, вместе взятых. (Понятно, что при коммунизме — уже не физическом только, но прежде всего *социальном,* — таким должен стать любой из нас: (Не) знайка как имя каждого — или, точнее, «имя имени» каждого; и напротив, именно отсутствие коммунизма означает жесткую сепарацию «знаек» и «незнаек»: Вы Коля, писатель? Вот и пишите о том что знаете, не надо своими «Выбранными местами» поучать всех, как им жить*; или, в более современной версии: Вы Юра, музыкант? Вот и пойте песенки, нечего тут народ баламутить с маршами несогласных, забыли про Ивана Помидорова? Вспомните теперь, как Незнайка «был музыкантом», как ему обязательно нужно было, чтоб его «кто-нибудь слушал», и вспомните реакцию соседей на этот «сумбур вместо музыки», до которой они якобы не доросли...) При этом важно, что не только роды и виды наличного сущего различаются между собой (живое — неживое, разумное —

* Или у Василия Розанова в «Уедииенном»: Ты что делаешь, Розанов? Стихи пишешь? Дурак, ты бы лучше пек булки (чтоб было что нюхать всяким там Козликам!).

неразумное и т. п.), но и трансцендентальный субъект образован неким *внутренним* различием, так что имеет место не только противоположность знаемого и знающего, но и сам знающий в своем подлинном существе *есть* (не) знающий!*

* Известный петербургский философ Николай Иванов в своих лекциях часто обличал трансцендентального субъекта, видя в нем, по его собственному выражению, лишь функцию «мест общего пользования». Понятно, о чем тут идет речь — о безличности, стерильности этого субъекта. Однако, помимо метафорического, у понятия «мест общего пользования» есть и буквальный, прямой смысл: то, куда доступ открыт *всем*. Этот смысл заставил вспомнить о себе, когда Николай Иванов со своим коллегой, другим известным петербургским философом Александром Исаковым (видимо, позабыв наши лунные порядки), решил весенним деньком, после занятий, распить бутылку газированной водички с сиропом в университетском садике — и когда тут же как из-под земли появился полицейский Мигль (а может, Фигль) и задержал обоих с поличным. Стоит ли говорить о последствиях? Таким образом, доцент Иванов на собственном опыте узнал, что значит исчезновение «мест общего пользования», превращение собственности общей в собственность приватную (речь, разумеется, не о юридических фикциях, а о реальном положении вещей). Зато, скажете вы, куда чище стали университетские уборные — и будете правы, ведь теперь никакой Незнайка (или еще какой Козлик) не проникнет в сии строго охраняемые пределы и не «будет мочиться мимо писсуара» (ведь именно таково его скрытое намерение, как прекрасно известно всякому Знайке — профессору Преображенскому, например). Сколько сегодняшних доцентов завтра станут такими «незнайками» и «козликами», должен решить, конечно, нынешний «законный собственник» вчерашних «мест общего пользования». —

В «Философии имени» Булгаков последовательно противопоставляет свою позицию концепции Иммануила Канта. Последний, как известно, не просто различал, но и настаивал на принципиальном, заложенном в самой природе нашей познавательной способности, разделении феномена (имманентного знанию бытия — того, что только и может быть предметом знания) и ноумена (трансцендентного знанию бытия — того, что ни в коем случае предметом знания не окажется). Булгаков же утверждает изначальное единство этих сторон: «Я есть одновременно феноменальность и ноуменальность, трансцендентно-имманентное» [19, с. 82]; причем именно *имя*, то есть изначальная, нередуцируемая фактичность языка, указывает на это единство: «Ноумен просто *есть* феномен, это *есть* и выражается в его именовании» [19, с. 105]. В факте имени и в акте именования, стало быть, всегда уже реализован синтез некой идеи-смысла — и воплощения, осуществления таковой (поэтому сказуемость, предикативность всегда уже связана с существительностью, субъектностью, и лишь впоследствии может быть неким субъектом «отвязана», абстрагирована). Так, можно задаться вопросом: что именует, к примеру, имя «пончик»? Очевидно, что даже если при этом

О позитивности «общих мест» (и критике их сугубо негативной оценки Хайдеггером) см.: [25, с. 29–36].

не указывают на какой-то конкретный, «вот этот именно», пончик, все равно имеют в виду потенциальное существование того или иного *реального* пончика, а значит, такого, который никогда полностью не совпадает с «имманентностью» и «идеальностью» только лишь «понятия пончика»*. У Носова, однако, это имя нарицательное фигурирует в качестве имени собственного — «Пончик»; понятно, что если «пончик» это некое единичное воплощение «идеи пончика» (как некоего специфического пищевого продукта), то «Пончик» именует того, кто *предан* этой идее (того, кто любит пончики, кто воспринимает мир в свете «идеи пончика»). Но как и судьба отдельно взятого реального пончика способна вынести его в мир какого-то иного, не предусмотренного в пределах «чистой пончиковости», бы-

* Не оттого ли в волшебных сказках «обычные вещи», колобок или серебряная монетка, имеют необычную судьбу? В той же «Философии имени» Булгаков говорит: «Чудо не есть фокус-покус, не имеющий корней в бытии и даже их отрицающий, оно всегда есть оздоровление естества, раскрытие его подлинной природы и постольку возведение на высшую степень. В чудесном мы именно опознаем истинную природу естественного, и в данном случае раскрывается изначальное единство языка, которое столь же изначально, как и единство человеческого рода» [19, с. 55]. Чудо — это вторжение коммунистического бытия в прагматическое, капиталистическое «естество»; если идеология — это способ закрепить в языке «естественность» определенного *частного* порядка, то «волшебная сказка» мобилизует критико-идеологические потенции языка.

тия, так и Пончик, как все помнят из «Незнайки на Луне», в определенный момент своей одиссеи «перевоспитывается» (испытывает «чудо обращения»), превращаясь из типичного представителя «средней буржуазии» в сторонника коммунистических взглядов!

Итак, в имени как таковом в свернутом виде содержится весь язык, вся его структура и вся его деятельность; язык при этом принципиально онтологичен, то есть он не внешняя «надстройка» над миром, но непосредственное выражение сущности самого мира, его устройства. И, ближайшим образом, каждое имя прежде всего разворачивается в то или иное конкретное предложение, где всегда уже есть: 1) некое общее качество, сказуемое, предикат, сказывающийся о 2) некоем реальном субъекте (который сам по себе, в отрыве от того, что о нем сказывается, может быть выражен «местоименным жестом»), в результате чего образуется 3) «внутри себя различенное единство» всего сущего. Это единство-различие выражается связкой «есть»:

> Связка должна иметь объективное, космическое значение, если имеет его язык как носитель мысли. Иначе говоря, *связка выражает мировую связь всего со всем,* космический коммунизм бытия и альтруизм каждого его момента, т. е. способность выражаться через другое [19, с. 107].

Поэтому, имя как таковое есть в первую очередь имя *существительное* — единство идеи-смыс-

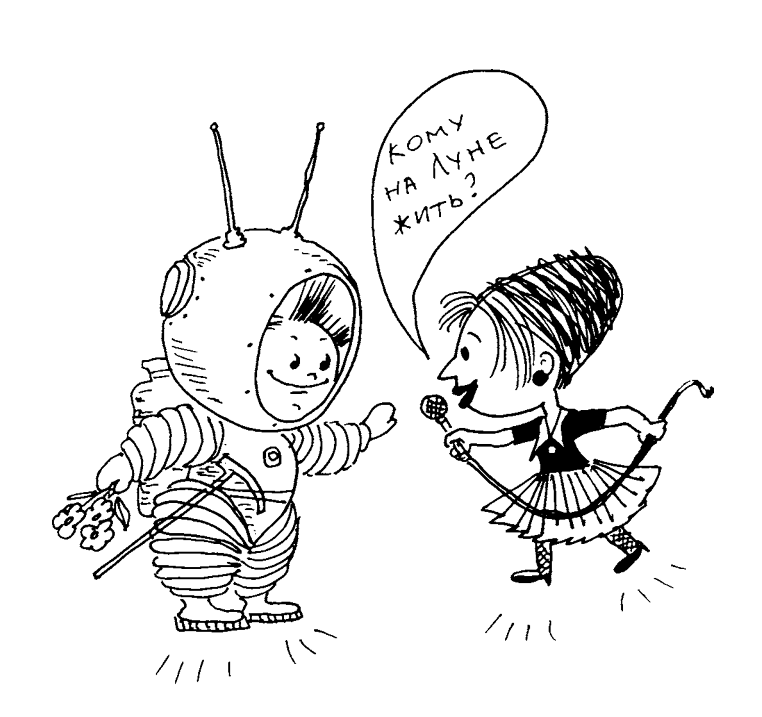
ла и «местоименного жеста», который Булгаков называет «онтологическим крюком» в отношении смысловой идеальности: «Итак, имя существительное есть экзистенциональное суждение, в котором подлежащим является некоторая точка бытия, то, что само по себе не может выразиться в слове, но именуется, а сказуемым является имя» [19, с. 85]. Иными словами, очевидно следующее: «сказуемое», «идея-смысл» есть знание, а *то, о чем* это знание — «точка бытия», выражаемая в речи местоимением, — как таковое, знанием *не является* (выражаясь в духе Хайдеггера, бытие является одновременно и нехваткой, и избытком по отношению к знанию)*.

И вот эту-то «точку» (неизъяснимо совпадающую с «окружностью» целого космоса)

* Возможно, сходное с булгаковским понимание языка представлено в анализе феномена *свидетельства* у Джорджо Агамбена. В книге «Что остается после Освенцима» говорится о необходимости свидетельствовать о том, что *это имело место* (местоимеиный жест!), притом что в «плане знания» иечто подобное свидетельству представляется невозможным. Ср.: «...Свидетельство может существовать только потому, что не-человеческое и человеческое, живущий и говорящий, мусульманин н выживший не совпадают, потому что между ннмн существует неразделимое разделение. Только потому, что оио свойственно языку как таковому, и именно потому, что оно свидетельствует о способности говорить лишь посредством неспособности, его авторитет зависит не от фактической правды, от соответствия сказанного и сделаиного, воспоминания и произошедшего, а от незапамятной взаимосвязи иеизреченного и сказанного, виешнего и внутрениего языка» [10, с. 166].

знание в своей претензии быть чистым, абсолютным, научным — стремится стереть (или, по крайней мере, радикальным образом обесценить, дискредитировать). Так, в завершении эпизода с майским жуком Носов замечательно вводит Знайку именно как функцию голоса, нормализующего ситуацию («чрезвычайное положение», спровоцированное Незнайкой, распространяющим среди населения панику в связи с якобы надвигающейся космической катастрофой):

> Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил галоши и зонтик и уже выбежал за ворота, но тут раздался голос Знайки:
> — Успокойтесь, братцы! Ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка болтун? Все это он выдумал [4, с. 14].


КОМУ НА ЛУНЕ ЖИТЬ?

ГЛАВА 4
«Я ТЕБЕ КАК ДАМ КНОПОЧКУ!», ИЛИ ОШИБКА ПРОФЕССОРА КАЦА

Интерпретация «Незнайки на Луне» в «Истории советской фантастики» Р. С. Каца.— Критика этой интерпретации: «ошибка» Пончика и Незнайка-Фалес.— Неподлинный характер земного изобилия.— Знайка как субъект «сверхзадачи».

«Дитя, — пишет Сергей Булгаков в «Философии имени»,— видит предмет и называет его; образуется представление и оно получает имя; все это — и представление, и имя — суть не первое, а второе, *они заслоняют это первое* (выделено мной — *А. П.*)» [19, с. 85]. Что это, как не структура первичного вытеснения, на которой базирует себя жест суверенитета, воздвигается фантазматический проект «абсолютного знания» (не столько в гегелевском, сколько в позитивно-научном смысле слова)? «Строго научное» именование всякого места, испокон веку имеющее форму клеймения «болтунов» и изобличения «выдумок»? Как если бы упомянутое «дитя» всегда уже, с самого начала, было Знайкой, оглашающим свой приговор Незнайке — тому, стало быть, кто оказывается таким образом *еще древней*, «незапамятней».

Вот почему надо с самого начала отмежеваться от оценки, данной «Незнайке на Луне» Рустамом Кацем, автором не имеющего пока аналогов в научной литературе фундаментального исследования «История советской фантастики». Вкратце, позиция этого ученого мужа сводится к следующему: с самого начала выставляя текст Носова как «созданный в соответствии с социальным заказом образец „контрпропагандистской“ литературы» (хотя и отмечая при этом талант автора, его нежелание «опускаться до злобствований и халтуры»), уважаемый мэтр усматривает его основной подтекст в том, что «главные герои романа, глупые и нахальные коротышки Незнайка и Пончик („мистер Понч“), захватывают космический корабль, построенный умником Знайкой со товарищи, и таким вот контрабандным путем попадают на Луну»; поскольку же «описание высадки приятелей-жуликов на поверхность Луны было точной, мастерской и, надо признать, смешной карикатурой на высадку американцев с „Аполлона“», постольку в итоге предполагаемое воздействие романа на читателя оказывается сведенным исключительно к своей идеологической функции:

> Целое поколение школьников, взахлеб читающее «Незнайку на Луне», приучались к мысли, что первенство Незнайки, ступившего на Луну, — ворованное, ненастоящее. Что прав не тот, кто успел

> раньше, а тот, кто долгим, честным трудом заслужил победу. Очевидно, сам Носов, работая над книгой, надеялся, что правда о полете «Аполлона-11» все-таки будет сказана в те же шестидесятые годы, и пытался таким вот образом уменьшить чувство разочарования своей страной, которое могло бы возникнуть у детишек» [36, с. 145–146].

Итак, автор «Незнайки на Луне» подан как такой вот прекрасный отец, заранее озаботившийся материнским капиталом образов, способных подстраховать «детишек» при первом опыте столкновения с Реальным! Замечательно! Хочется только спросить многоуважаемого профессора Каца: Рустам Святославович, ну а сами-то вы как, неужели верите, что послание, содержащееся в носовском творении, сполна дешифруется этой совершенно топорной (хотелось бы надеяться, впрочем, что все-таки пародийной) критико-идеологической разборкой?

При этом, сам текст «Истории советской фантастики» проговаривается, однако, на счет того, что сознание его автора никак не могло (или все-таки не хотело?) иметь в виду. Так, в книге многомудрого Каца Незнайка, выходя из ракеты, произносит напыщенную фразу: «Смелее, Пончик! Теперь каждый наш маленький шаг войдет в историю человечества!» — после чего «презабавно падает прямо в яму»; эти слова Незнайки, по мнению нашего проницательного исследователя, были

соотнесены с «фразой, действительно сказанной Армстронгом в момент выхода из модуля: „Маленький шаг человека, огромный шаг человечества“» [36, с. 146]. *Показательно, что в оригинальном тексте «Незнайки на Луне» ничего похожего главным героем не произносится! Более того, вовсе не в яму он «презабавно падает», а вполне драматично проваливается в глубокую пещеру, ведущую внутрь Луны.* В свете этого факта как раз-таки именно предложенная Кацем версия является подлинной халтурой, если не клеветничеством в чистом виде!

А симптоматичность этой «оговорки» заключается попросту в том, что на свет в итоге выводится глубинная сущность миссии Незнайки: своим умением «попадать в истории» он призван вот именно что *историзировать* бытие, вывести его из состояния «природного равновесия». Ведь открываемое внутрилунное пространство (когда мир оказывается пещерой) делает возможным рефлексию и волю к событию — небесная твердь есть как бы зеркало для коротышки, без чего космос предстает лишь как дурная бесконечность и вегетативная безначальность, ввергая своих обитателей в беспамятство и впадая туда сам. В этом плане можно согласиться с замечанием другого замечательного исследователя творчества Носова:

> ...Построение книг о Незнайке, — пишет уже упоминавшаяся Марина Загидуллина, — никак не ис-

> черпывается ориентацией автора на модель утопического текста. Жанр романа приключений неизбежно заставляет автора обращаться к динамичным сюжетным структурам, разрушающим застывшее время утопии. Традиционная утопия всегда статична: идеальный мир достаточно просто подробно описать [33, с. 206].

Нужно только скорректировать это ценное наблюдение: действительно, Носова привлекает не «традиционная утопия», но, скорее, тот «клинамен», который непрерывно сопротивляется истощению собственно утопического потенциала, его «действительной реализации». Но безусловно верным остается следующее: если бы полет прошел плановым образом, никакого «приключения»* возможно бы и не произошло и «застывшее время» осталось бы неприкосновенным. Однако вследствие ошибки Пончика (вспомните, что, согласно Александру Кожеву, именно возможность и необходимость *ошибки* конституирует собственно человеческий, то есть исторический характер времени [см.: 37, с. 538]), перепутавшего «кнопочки», все пошло по иному сценарию. Кстати, отметьте здесь роль Незнайки — не он был виновником «случайного» запуска ракеты, но именно он настоял на *верности* тому курсу, который, таким образом, сам избрал себе своего субъекта:

* Незнайка — не субъект-субстанция, а субъект-приключение («приключением» в XVIII веке в одном русском пособии по философии была переведена «акциденция»).

— Ну так и есть! — воскликнул Незнайка. — Значит, это ты запустил ракету! Что теперь прикажете делать?

— А нельзя ка-а-ак-нибудь остановить ра-а-а-кету?

— Как же ее остановишь?

— Ну, нажать еще какую-нибудь к-к-к-нопочку.

— Я тебе как дам кнопочку! Ты нажмешь кнопочку, ракета остановится, и мы с тобой застрянем посреди мирового пространства! Нет уж, лучше полетим на Луну» [5, с. 97].

Поэтому, вопреки ученейшему Кацу, необходимо настаивать на том, что «падение» Незнайки сродни скорей уж падению Фалеса*, которым открывается история философского, то есть подлинно критического (в глазах же представителей традиционной мудрости «беспочвенного» и — только в этом смысле используемый Кацем эпитет имеет право на существование! — «нахального») отношения человека к своему бытию. А значит, открывается им и история самого бытия! В «яме», куда падает Незнайка-Фалес, виртуально содержится вся последующая картография «одиссеи Духа», будь то пещера Платона, ад Данте и т. д. Да и в са-

* «Рассказывают, что когда он, наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал в колодец, то какая-то фракиянка, миловидная и бойкая служанка, посмеялась над ним, что-де он стремится знать, чтó на небе, того же, что рядом и под ногами, не замечает. Эта насмешка относится ко всем, кто проводит свой век в занятиях философией» [65, 174 а 4].

мом имени Незнайки разве не то озвучено, что со времен Сократа составляет единственно возможную формулу подлинности бытия в мире? Вот почему состоявшееся «по ошибке» прилунение только и может быть оценено как событие подлинного «заземления» (субъективации) потока космических сил; или даже так: произошедшее влунение привело к вменению (и вменяемости) той модели коммунизма, которая будто бы естественным образом (как закономерное следствие «изначального изобилия») была реализована на Земле.

Ведь то, что с самого начала упускает из виду профессор Кац, так это постоянно обличаемый Носовым *неподлинный* характер земного существования. Вновь совершенно права Загидуллина, так характеризующая Землю, населенную коротышками:

> Это страна вечных детей, которые никогда не вырастут из своего (примерно) восьми-девятилетнего возраста. Жизнь в этой стране налажена раз и навсегда. Проблемы, возникающие перед героями, разрешаются *с помощью освоения пространства, но не времени* (выделено мной.—*А. П.*) [33, с. 206].

Поэтому, кстати говоря, нет на Земле и смерти — есть только более или менее серьезные заболевания и травмы, с которыми эффективно справляется передовая медицина; но это едва ли будет оставаться в силе для Луны, где не только Цезарино получит пулю, предназна-

чавшуюся Незнайке, но и, к примеру, один из полицейских, преследующих грабителей банка, сломает себе шею (так по крайней мере об этом будет сообщаться в газетном репортаже).

Земля изображается Носовым как мир естественным образом наличного изобилия: это «гигантские растения», а благодаря им и жизнь, напоминающая если не вечный праздник, то по меньшей мере практически полностью гармонизированное существование (коротышки, конечно, трудятся, но их труд видимым образом никем не эксплуатируется и как следствие не имеет отчужденного характера*), наконец, это еще и постоянно возникающие избыточные элементы — таковы вертящиеся дома в Солнечном городе, например. Но возникает вопрос: синонимично ли это изобилие подлинной полноте бытия? Нет, едва ли; скорее, в нем есть что-то болезненное (как и в тех образах

* Ср. кожевскую характеристику «конца истории» в знамеиитой «сиоске»: «Даже можно сказать, что с определенной точки зреиия США уже достигли конечиой стадии марксистского „коммунизма“, коль скоро практически все члеиы „бесклассового общества“ могут уже сейчас приобретать все, что им заблагорассудится, трудясь при этом ие больше, чем прикажет сердце. В результате нескольких озиакомительиых поездок (с 1948 по 1958 год) в США и в СССР у меня сложилось впечатлеиие, что если американцы похожн на разбогатевших советско-китайцев, то это потому, что русские и китайцы — всего лишь пока еще бедные американцы, впрочем, вступившие на путь быстрого обогащения» [37, с. 540]. — Чем вам не описание Цветочного и Солнечного городов?

коммунизма, на которые часто только и оказывается способно наше сознание) — эта болезненность рефлексируется в фигуре Пончика, который, будучи озабочен уместностью сущего изобилия, выбрал, как рассказывает Носов, потемней ночку, завязал свои старые костюмы в огромный узел, вынес тайком из дома и утопил в реке, а вместо них натаскал себе из магазинов новых. Показателен итог: борясь с разведшейся молью, Пончик так пропах нафталином, что превратился в совершенно асоциальный элемент: все его прогоняли, чтобы не упасть в обморок или сойти с ума, так что в результате все эти ненужные новые костюмы пришлось отнести на чердак! [5, с. 6–7].

Здесь узнается тот мотив чрезмерности, который составляет вечную тему мысли, порождающей самые различные способы реагирования на «чрезвычайную ситуацию» беспрецедентного роста: от «классической» *экономии*, озабоченной необходимостью приведения бытия к некой «истинной мере» (вспомните хотя бы противопоставление Афин и Атлантиды в платоновском «Критии») — до, наоборот, «неклассической» *растраты* (бытие по способу потлача, как это описывает Жорж Батай). Исходят они, однако, из общего диагноза: подобного рода изобилие — это проблема, и, следовательно, оно внутренне *дефицитарно*. В самом деле, представьте только на одну минуточку совершенно невероятное — гигантские растения

(а ведь это случайный фактор, просто удача!) на Земле исчезли! Земля тут же автоматически превращается в Луну, да еще и «размалывает носы наши», заменяя (похоже, лишь для Незнайки невыносимую) легкость коммунистического бытия «тяжелой материей» капиталистических отношений.

Онтологической же характеристикой ситуации подобного изобилия может служить понятие «бытия в-себе», как оно представлено в известном анализе Жан-Поля Сартра: «Оно — имманентность, которая *не может* осуществляться, утверждение, которое *не может* утвердиться, действенность, которая *не может* действовать, *потому что вконец заросла жиром* (выделено мной. — *А. П.*)» [67, с. 38]. Основания — вот чего, с точки зрения Сартра, не хватает бытию для того, чтобы из модуса в-себе перейти в модус для-себя! Это можно выразить и иначе: дисциплинирующая сверхзадача — вот что следует вменить «в-себе» избыточному (бесполезному, а точнее, бессмысленному) изобилию, чтобы оно могло выступить в роли «для-себя» вполне целесообразного, рационально используемого *богатства**. Для этого

* Ср.: «В текстах Носова очевидна прозрачная, проницаемая граница между „идеальным" и „катастрофическим". Любой позитивный момент, любое достижение в мире малышей и малышек чреваты печальными последствиями для отдельно взятых героев. Стоит вспомнить отношение героев к изобилию — например, пожираемые молью горы

«классического» решения «архаической» задачи у Носова служит антагонист главного героя с соответствующим его функции именем: Знайка — тот, кто «знает как» (как спасти Землю от «ожирения»).

В этой связи нужно указать на еще одну оплошность, которую допускает почтенный профессор Кац — это совершенно поверхностное противопоставление «жуликов» Незнайки и Пончика и «тружеников» в лице «Знайки со товарищи» (так и просится «Знайка & С°», не правда ли?). Дело в том, что различие Знайки и Пончика — это, скорее, различие крайних членов единой оппозиции, отражающей суть земного существования, а вот Незнайка — это поистине *внеземной элемент*. В самом деле, как Знайка, теоретически осознавая латентную дефицитарность земного изобилия, заставляет последнее работать на достижение «полезных» целей научно-исследовательской деятельности и технического прогресса (они, конеч-

натасканных из „магазина" шерстяных костюмов (история Пончика, рассказанная в начале „Незнайки на Луне") или неостановимое обжорство. Казалось бы, Носов борется с „пережитками прошлого", но в действительности он освещает „светом естественного разума" детские мечты и представлеиия. Давай помечтаем! — как будто говорит он и тут же наводит на эту мечту микроскоп, под которым видно, как милое сердцу мечтателя явление оскаливает хищные зубы. Опрокидывание идеала в катастрофу становится школой для читателя, своеобразным адаптивным экспериментальным полем» [33, с. 220].

но, и вправду полезны — как картина из мультфильма о Простоквашино, закрывающая дырку на обоях: человек ведь тоже «дырка в бытии», согласно определению все того же Сартра), так и Пончик, реально переживая вполне очевидный дефицит лунной жизни, быстро проявляет волю к знанию и находит «рыночную нишу» для незнакомой доселе лунатикам соли.

Но изобилие архаично, однако, еще и постольку, поскольку отсылает к *жесту абсолютного начинания* (пусть даже камуфлируя, затопляя его «жиром» квазиестественной безначальности). И в этом смысле всегда уже есть не только мудрец Знайка, который «научно познал», что именно необходимо предпринять для утилизации избытка, но еще и *простец* (просто идиот, в глазах Знайки) Незнайка, который также всегда уже достиг уровня «ученого незнания» того, что (не) следует делать.


ТЕОРИЯ ХАОСА ОТ МИНИ МАУСА

ГЛАВА 5
«КОСМОС НЕ ТАКАЯ ВЕЩЬ, С КОТОРОЙ МОЖНО ШУТИТЬ!», ИЛИ О СТРАТЕГИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Природа начала.— Прибор невесомости: проблема полезного применения.— Смысл «отрицательности», заключенной в имени Незнайки.— Знайка как эксперт-технократ и консервативный политик.— Вопрос о «пережитках».— Незнайка vs Знайка: киберпанк vs НФ.— «Физика-мизика» и ее предмет.— «Идиотская деятельность», справедливость и солидарность.

Для изображения этого различия сущностных установок Носов находит превосходные образы: так, если Знайка все силы прилагает к тому, чтобы целесообразно использовать открытую им космическую силу невесомости, изобретая соответствующий «прибор» — то Незнайка применяет последний (взятый, конечно же, «без разрешения») совершенно «бесцельно»: ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости («Неизвестно,— добавляет Носов,— почему ему в голову забралась такая мысль»

[5, с. 78]). Незнайка, стало быть — это субъект, непрерывно совершающий редукцию принципа полезности и целесообразности, ведь если и есть что-то, чего он не знает по преимуществу — так это прежде всего то, *для чего* он делает то, что делает.

Или — более ранний случай, имевший место на пути в Солнечный город: Незнайка узнает от Калачика о технике централизованного телерадиоуправления сельскохозяйственными машинами и ставит свой классический опыт — показывает язык и корчит гримасу стеклянному шару (играющему роль телекамеры):

> — Фу, как не стыдно язык показывать! — загремел голос из громкоговорителя.
>
> Незнайке стало стыдно. Он захихикал, чтоб скрыть смущение, и пробормотал:
>
> — Я хотел проверить, видит меня машинист или нет, а он, оказывается, видит.
>
> — Видит, видит, теперь ты можешь не сомневаться [5, с. 261].

Последние слова, кстати сказать, принадлежат коротышке по имени Пачкуля Пёстренький, персонажу в высшей степени примечательному — одному из двух спутников Незнайки в его путешествии в Солнечный город. Кроме нелюбви к умыванию, он прославился своей способностью ничему не удивляться; так, если Незнайка живо интересуется устройством машин, то Пёстренький перманентно отрицает удиви-

тельность чего бы то ни было. Формула этого отрицания тем не менее специфична — к примеру, по поводу объяснения машиниста о том, как попадают в Радиолярию (таково имя собственное машины, совмещающей в себе функции комбайна и сеялки) семена, он говорит, что здесь действительно нечему удивляться: «Вот если бы семян не засыпали в комбайн, а они сами из него сыпались да сыпались — тогда было бы удивительно!» [5, с. 262]. Все происходит так, как если бы Пёстренький персонализировал обособившуюся способность к философскому скепсису в отношении любого чисто (таков уж Пачкуля!) позитивного знания — как если бы он бдительно следил за тем, чтобы Незнайка не изменял своему призванию, не перерождался в Знайку! Неслучайно ведь в гостинице он записывает в гостевой книге: «Иностранец Паскуале Пестрини», подчеркивая «инаковость», «странность», «неуютность»*, которая не должна быть чужда и «автомобильному путешественнику Незнаму Незнамовичу Незнайкину» (такова запись Незнайки в той же книге). К тому же есть в Пачкуле что-то и от того «человеческого отребья» — бомжей, безработных, бедняков — которые в изобилии будут встречены на Луне,

* «Неуютнейшее» (das Unheimlichste) — так определяется по Хайдеггеру природа всякого подлинного *начала* (см.: [76, с. 231–232]).

куда Незнайка попадет уже без него; можно даже предположить, что на Луне Пёстренький обернется, к примеру, Седеньким и впервые испытает подлинное удивление и, что еще существенней, явит нечто удивительное сам — выразит коллективное доверие к предприятию по доставке семян гигантских растений!..

Вот почему отрицательность, заложенная в самом имени Незнайка, есть нечто радикально отличное от того *псевдонимического* «Ничто», с помощью которого гомеровский Одиссей обманывает Циклопа: как показали в «Диалектике Просвещения» Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, данный жест отречения от имени собственного делает Одиссея «Робинзоном до Робинзона», прототипом хитроумного буржуазного субъекта, избирающего искусство (технику) расчетливого обмана в качестве стратегии выживания [77, с. 75–83]. Одиссею в цикле о Незнайке соответствует, конечно же, Знайка, покоряющий Луну именно с помощью техники («прибор невесомости»). Но вот что важно: «эмпирические» лунатики уже до этого оказываются *внутренне освобождены* антибуржуазным и нетехническим присутствием в своих рядах лунатика «трансцендентального» — Незнайка ведь для них был «свалившимся с Луны»! Важны-то, как показало развитие событий, были не столько сами «гигантские растения», сколько та *солидарность*, которая была мобилизована с помощью одной только

идеи (очевидно, что когда пресловутые семена этих растений попадают на Луну, история заканчивается: происходит реализация фантазма, и исчезает утопическое измерение надежды) — вспомните рассказ Седенького о коллективной покупке одной-единственной акции, на которую деньги собирали по сантику всей деревней:

> Голубчик, да вы дайте нам хоть одно зернышко! Пусть у нас вырастет хоть один гигантский огурец. Разве мы станем есть его? Мы его оставим на семена. Весь урожай оставим на семена. И второй урожай, если понадобится, оставим, и третий... [5, с. 228].

А вот еще более показательный момент: когда Колосок рассказывает прилетевшим спасать Незнайку и Пончика землянам об акционерном обществе гигантских растений, никто из коротышек не понял, что это за акции такие и как их можно покупать или же продавать — но Знайка, пишет Носов, *который знал очень многое, сразу все понял* — поэтому он сказал, что бедняки правильно делают, что не теряют надежды, и что семена на самом деле привезены. Лунный капитализм и земное изобилие соединяются Знайкой в итоге точно так же, как камни в приборе невесомости, — речь для него идет о чисто техническом решении проблемы! Что до других коротышек с Земли, то они, оказывается, *даже и не знали о своем незнании* (относительно такого предмета как капитализм) —

и в самом деле, зачем им это, если есть Знайка, эксперт-технократ*?

Можно пофантазировать, что если бы Носов написал продолжение своего «Незнайки», то в нем, по логике вещей, Знайка в какой-то момент обязательно потерял бы контроль над «лунной» революцией (в какой цвет, интересно, она была бы в конечном итоге выкрашена?) и, конечно же, сделал бы все возможное, чтобы охранить от вредных идей *наш, земной* «коммунизм». Наверное, им был бы создан миф о том, что гигантским растениям на Земле угрожает какое-то лунное излучение, и для их защиты вокруг планеты был бы выстроен щит — наподобие того, который окружает ядро Луны. Можно предположить и другой сценарий: гигантские растения действительно заражаются «лунной

* Ср.: «Кстати, образ Знайки ннтересен тем, что он совмещает в одном лнце глубокого ученого и авторнтарного руководителя. В советское время такое случалось нередко, достаточно вспомнить полномочия, которымн был наделен наш земляк — генеральный конструктор С. П. Королев. Знайка — не только изобретатель. Он еще аккумулирует для выполнения грандиозных задач (освоенне космоса, измененне государственного строя целых планет и т. д.) трудовые ресурсы городов, управляет сложнымн пронзводственнымн процессами, подчнняет (пройдя через жесткую полемнку) своей воле научный интеллект общества и направляет его в русло выполнения поставленных им же задач. В случае необходимости Знайка демонстрнрует настоящую жесткость и даже грубость, однако, как и ко всем остальным героям, Носов относится к нему с мягким юмором» [40].

болезнью» карликовости, так что и на Земле естественному изобилию кладется конец — и тогда Знайка выступает главным идеологом капиталистического строительства, а изгнанные с Луны Спрутс и Жулио принимаются как «опытные специалисты» и активно участвуют в приватизации и либерализации (возможно, в их ряды вольется и солнечноградский «ветрогон» Чубчик, превратившийся в «господина Чубса», не говоря уж о великом ученом профессоре Козявкине, которому будет поручена «эффективная реорганизация» Академии наук и высшей школы — конечно, в случае если он покончит с вредной привычкой терять свои очки и изобретет методику, позволяющую, напротив, эти очки подсчитывать и накапливать, в итоге чего всякие там стекляшкины и звездочкины будут деятельно трудиться на повышение «индекса Козявкина»).

А что же Незнайка? Какое место займет он в этой новой конфигурации знания? Ведь, как еще будет показано, именно он своим «влунением» сделал очевидным тот факт, что лунный капитализм актуализирует ту самую дефицитарность, которая потенциально присуща земному коммунизму — так что не только коммунизм есть истина капитализма, но, в определенном аспекте, верно и прямо обратное — капитализм есть истина коммунизма! И, что самое интересное: если в своей земной биографии Незнайка (и, хотя и в ином ключе, Пон-

чик) выглядит — прежде всего, благодаря своей «несознательности» — как пережиток капиталистической эпохи (о чем знает, конечно, лишь Знайка, умело вытесняющий «историческую память» из сознания прочих обитателей Цветочного города), то в жизни лунной лишь он способен пробудить ростки коммунистического движения, открывая *еще более внутреннюю* сторону Луны! Как же такое возможно?

Все дело в том, что сами эти «пережитки» как раз и выступают носителями исторической памяти, «зарубками» прошлого на теле настоящего; как отмечал виднейший теоретик марксизма-ленинизма Ричард Косолапов, хотя в странах победившего социализма уже налицо «объективные и субъективные» условия для построения коммунизма, на уровне «общественной психологии» (отдельно взятых членов) еще дают о себе знать (а в отсутствие бдительности и расцветают!) чисто буржуазные «эмоции и реакции» — такие как жадность, негативное отношение к труду, превратное понимание свободы и т. п. Поэтому каждый Знайка должен не забывать, что «изгонять пережитки прошлого из обыденного сознания трудящихся, из общественной психологии — важнейшая задача работников идеологического фронта»! [38, с. 191]

Итак, можно резюмировать: стратегия Знайки от начала и до конца является стратегией дефицита, понятого в качестве сущности «научно

постигнутого» изобилия, отсюда его заинтересованность в открытии все новых пространств для экспансии, все новых точек приложения своих сил*; Незнайка же постоянно «ускользает» в автономные зоны чистой самодостаточности, что, конечно, с точки зрения «стратегии знания» может быть описано только в терминах воровства, маргинальности, подпольности. Кто-то скажет: один — правоверный марксист-ленинец (и даже сталинец!), другой — хиппи-маркузеанец (и в самом деле, даже на уровне внешнего вида: если Знайка, по свидетельству Носова, всегда одевался в черный костюм и был похож на профессора, то Незнайка наряжался попугаем и по целым дням слонялся по городу, сочиняя разные небылицы [5, с. 10]; стоит ли добавлять о полном равнодушии первого и явном неравнодушии второго к противоположному полу?). Пусть так. Однако точное определение стратегии Незнайки, которое было предложено выше — это *историзация существования*, а материя историчности не соткана из сплошных переходов к бесконечно

* «Носов не зря показал, что для сохранения в коммунистическом (да и любом другом) «обществе изобилия» равновесия, необходимо ставить перед людьми целевые «сверхзадачи», чтобы общество не потеряло своей активной силы. Иначе отупевшие от безделья коротышки начнут заниматься бессмысленным накоплением (подобно Пончику, который скупал костюмы), либо поиском новых (не всегда безобидных) развлечений (подобно «ветрогонам» Солнечиого города)» [40].

отсроченной «цели», но состоит из островков самоцельного существования, обретаемых в разрывах сетей и потоков мира чистой функциональности. Поэтому можно предложить еще одну различительную характеристику: если Знайка — это типичный *научно*-фантастический персонаж, то Незнайка — скорее персонаж *киберпанка*, ведь он как раз и воплощает судьбу «отброса», иррационального остатка в «рационально управляемой» вселенной (путешествие Незнайки ставит целью не умножение богатства, пусть в форме приращения «интеллектуального капитала», а реабилитацию «отбросов общества» в их так-бытии*).

Это выражается, в частности, еще и в том, что если научный подход Знайки (пресловутая «блинная теория», подвергнутая критике профессором Звездочкиным — в данном случае открытым, да и не принципиальным вопросом остается, кто же из них был «Вавилов», а кто «Лысенко») предусматривал отношение к Луне лишь как к физическому телу (пусть и полому — пустота лишь знак отсутствия «внутреннего»!), то Незнайка, движи-

* Существует точка зрения, что идеология киберпанка исходит исключительно из потребности субъекта как-то уцелеть, ускользнуть в некую «интерзону», но не революционизировать ситуацию в целом (см. напр.: [17, с. 32–35]). Этого, конечно, нельзя сказать о Незнайке: в своих внутрилунных скитаниях он, сам того не зная, оказался создателем истинно революционного *мифа* (в том значении, которое этому понятию придал Жорж Сорель).

мый своим ненаучным «предчувствием космоса», оказывается способным проникнуть в ее внутренний мир. Носов, кстати, описывал, как Незнайка пытался освоить научную картину мира: «стал учиться читать и писать, прочитал всю грамматику и почти всю арифметику, стал делать задачки и уже даже хотел начать изучать физику, которую в шутку называл физикой-мизикой, но как раз тут ему почему-то расхотелось учиться». Он, как говорит Носов, «просто сбился с правильного пути», или, другими словами, «с головой окунулся в грезы» (ох уж эти шестидесятники с их оранжевыми рубашками и зелеными галстуками!). И — более тревожный сигнал:

> Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка наобещает с три короба, наговорит, что сделает и это и то, даже горы свернет и вверх ногами перевернет, на самом же деле поработает несколько дней в полную силу, а потом снова понемножку начинает отлынивать [4, с. 196–167]*.

Так что же такое эта «физика-мизика»? Только лишь вредный пережиток, подлежащий искоренению (желательно, конечно, путем перевоспитания, но если не получается — то где вы, профессор Козявкин и доктор Пилюлькин?) — или

* Как не вспомнить в этой связи апологию лени, предложенную зятем Карла Маркса Полем Лафаргом! (См.: [51]).

«физика-мизика» представляет собой симптом тоски по исконной *мета-физичности* бытия человека (пусть даже он не больше огурца ростом)? О, конечно, радикальный поэзис Незнайки выглядит совершенно неуместным в земном обществе тотального изобилия, где никому не нужны летающие рыбы и стихи без рифмы и смысла, но сколь востребован зато оказывается он на «внутренней Луне», этой сущностной изнанке «земного рая»! Незнайка может жить лишь там, где, по формуле Джима Джармуша, будет «более странно, чем в раю», где бессмысленно вовсе не то, что и вправду лишено смысла (даже напротив: Носов отмечает, что у представителей высших слоев лунного общества всегда пользуются спросом «непонятные» картины, ибо те, кто их покупает, вовсе не желают, чтоб «какой-то художник чему-то там их учил»; модны также «журфиксы», то есть вечеринки с приглашениями, где среди прочего обещается, что в ходе празднества «будут разломаны двенадцать кресел, четыре дивана плюшевых, два рояля, раздвижной стол и разбиты все окна» [5, с. 222–223] — короче говоря, налицо псевдопотлач, дух «демонстративного потребления», в котором концентрируется всеобщая дефицитарность лунного образа жизни!) — нет, бессмысленно там единственно то, что «бесполезно», то есть не может послужить источником получения прибыли! Так, невозможно не заметить, насколько внешним, преходящим оказыва-

ется для Незнайки само предприятие по доставке на Луну семян гигантских растений — при этом речь вовсе не идет о безответственности, даже напротив: Незнайка полностью разделил судьбу своего АО в той же мере, в какой умудрился до конца следовать «своей» линии, согласно которой подлинная полнота бытия обретается по ту сторону техник приобретательства. И пусть аферисты Мига и Жулио скрываются в самый ответственный момент с капиталом акционерного общества, «чем хуже, тем лучше»: идея гигантских растений истинна не в том плане, что таковые и впрямь *где-то* «реально существуют», но в том, что она способна катализировать процесс солидаризации на основе того, что имеет место именно *здесь и сейчас* и что вполне достаточно для того, чтобы в другом увидеть — *друга*!

И вот, когда Знайка с друзьями наконец-то добирается до «Внутренней Луны», лунная полиция встречает ракету с пришельцами ружейной пальбой. В целях самозащиты землянам приходится применить изобретенный Знайкой «прибор невесомости» (изначально предназначенный, конечно же, исключительно для мирных целей). А вот слова Знайки, сказанные им на экстренном совещании по поводу столь нерадушного приема:

> — Дорогие друзья! От нас сейчас требуется величайшая осторожность. Здешнее население по-

> чему-то встретило нас враждебно. Я полагаю, что это результат идиотской деятельности Незнайки и Пончика (особенно, конечно, Незнайки), которые попали сюда раньше нас и, безусловно, успели зарекомендовать себя с самой плохой стороны [5, с. 449–450].

В этой речи показательно буквально все! Знайка он ведь на то и Знайка, чтобы априори предполагать некую *причину* происходящего — и выдвигать *гипотезу* о том, что могло такой причиной послужить; суждение же о причинности, как известно, изначально восходит к практике обвинения, а стало быть, в какой-то момент предполагает возвращение к ней. Как уже говорилось, Знайка был единственным, кто с самого начала (ну разумеется, по причине своего обширного знания! классический прием самооправдания идеолога!) знал, что такое деньги и капитализм — что до Незнайки с Пончиком, то им это приходилось узнавать на собственном опыте, их сознание в этом смысле было образцом tabula rasa. Как знающий, Знайка совершенно на автомате объявляет деятельность других «идиотской», ведь нет ничего естественнее такого объявления; но возникает вопрос — ошибся ли в итоге Знайка в этом суждении и осуждении, ведь Незнайка и Пончик в своей деятельности, как показала история, выступили как раз на стороне антикапиталистических сил? Тем не менее у Носова нигде не сказано, что Знайка берет свои слова назад — напротив, он снисхо-

дительно извиняет Незнайку с Пончиком, автоматически присваивая успех (значим ведь исключительно успех!) лунной революции (ведь Незнайка, как сообщают, «продавал воздух», то есть то, чего у него не было — семена гигантских растений, за что и был арестован [5, с. 490]; Знайка же как раз доставляет лунатикам эти семена, выступая, следовательно, в роли того, кто берет на себя ответственность за обеспечение обещаний лопнувшего акционерного общества и в итоге гасит кредит оказанного доверия).

Знайка знать ничего не желает о том, что не может быть предметом рационального знания: всякую там событийность, солидарность, общение — в той мере, в какой они претендуют быть чем-то большим, нежели просто надстройкой над технико-экономическим базисом. Так что факт опережающего проникновения Незнайки с Пончиком в недра Луны Знайка должен истолковать единственно возможным для себя образом: как преждевременное, самым идиотским образом игнорирующее «естественный ход развития», действие; мысль о том, что нечто «идиотское» может играть роль чего-то изначального, *всегда уже* имеющего место в качестве *вытесненной* причины этого так называемого естественного хода — такая мысль, похоже, едва ли может прийти в голову знающего даже во сне!

Но разве не важно то, какова была мотивация Незнайки и Пончика, проникнувших в ракету

и лишь по ошибке произведших ее запуск? Речь ведь у них шла о восстановлении *справедливости* — по распоряжению все того же Знайки их обоих не брали на Луну! Объяснение Знайки и тут заслуживает того, чтобы быть процитированным:

> — Это не наказание, а мера предосторожности, — строго ответил Знайка. — Путешествие на Луну — не увеселительная прогулка. В это путешествие должны отправиться лишь самые умные и самые дисциплинированные коротышки. Незнайка очень хорошо переносит состояние невесомости, но зато состояние его умственных способностей оставляет покуда желать много лучшего. От своей недисциплинированности Незнайка и сам пострадает, и других подведет. А космос не такая вещь, с которой можно шутить. Пусть лучше Незнайка подождет до следующего раза, а за это время постарается поумнеть. Это мое последнее слово! [5, с. 84].

Что и говорить, формула Господина во всей своей красе: точно не сейчас — возможно, потом, — ну а пока, что я могу вам сказать? — продолжайте работать...


А Ж ГАЛСТУКОМ ПОДАВИЛСЯ!
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

ГЛАВА 6
«ПРИДЕТСЯ ТЕБЕ НА НОЧЬ КАСТОРКУ ДАТЬ!», ИЛИ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Незнайка Николая Носова и Простец Николая Кузанского.— Взвесить всё!— Дискурсивное знание и его предел.— Невесомость как знак утопии.— Незнайка и Ван Гог: незнание как исток художественного творения.— «Неиное» как метафизическое имя космоса.

Выше применительно к Незнайке была использована формула Николая Кузанского: *ученое незнание* (docta ignoratia). Возникает вопрос, насколько это оправданно — во-первых, нет ли здесь омонимии в случае значения понятия «незнания», а во-вторых, насколько о незнании Незнайки можно говорить как об «ученом»?

Для начала, в качестве обоснования неслучайности подобной ассоциации, можно указать на ту оценку, которую дал «деятельности» Незнайки (и примкнувшего к нему Пончика) Знайка — она была названа «идиотской». А ведь у Кузанца есть цикл диалогов, где главное действующее лицо названо «Простецом», то есть попросту говоря — *Идиотом.*

Обратитесь, например, к диалогу «Простец об опытах с весами» (Idiota de staticis experimentis) — и неминуемо столкнетесь с тем, что иначе как вакханалией научного дискурса и не назовешь: оказывается, что достаточно выбрать какую-нибудь из возможных процедур измерения — такую, например, как взвешивание, — и вот уже теоретически способность измерять оказывается приложимой буквально ко всему! К примеру, взвесить можно не только материальный предмет, но и время — причем не только настоящее, но и будущее (возможно, не все знают, что в начале девяностых многие «научные коммунисты» успешно перестроились в специалистов по «политическому прогнозированию»):

> Ритор. Я слышал, по разливу и убыли воды в Ниле египтяне предсказывали характер всего года.
>
> Простец. Нет области, где при внимании нельзя было бы найти сходные признаки, подобно тому как по упитанности рыб и рептилий в начале зимы мы догадываемся, что будут большие и долгие холода, против которых мудрая природа и готовит эти живые существа [60, с. 458].

Описанный выше «ихтиологический эксперимент» Незнайки, таким образом, можно истолковать как критически направленный против рационального использования рыбьего веса — будь то в народнохозяйственных или даже политических целях (чем вполне объясняется гипертрофированная с точки зрения непосвя-

щенного разгневанность Знайки). Закономерно возникает вопрос о применении этого метода к взвешиванию также и дел человеческих; однако именно здесь Простец почему-то налагает запрет на такого рода измерения, и это в тот самый момент, когда, казалось бы, сама логика позволяет практиковать предложенный метод без каких-либо ограничений! Более того, этот запрет озвучивается дважды, как если бы нужно было особо подчеркнуть *нежелание* следовать этому не знающему пределов *влечению* («воле к знанию»):

> Простец. Некоторые люди сообщали новости о положении на родине, косвенно выводя свой ответ на вопросы из хода разговора, который они имели со спрашивающим, как если бы при долгом разговоре происходило внезапное духовное наитие. Если беседа склонялась к печальным вещам, они таким же полагали и исход дела, если к радостным — то радостным. Я сам раньше думал, что по выражению лица, одежде, движению глаз, по выбору слов и их весомости могу, многократно заставляя спрашивающего рассказывать об обстоятельствах какого-то дела, высказать предположение о его исходе; еще точнее, впрочем, — от того, кому непреднамеренно приходит в голову нечто истинное, в ком, по-видимому, говорит какой-то дух предсказания. Но думаю, что в этом предмете ни искусство невозможно, ни уже имеющиеся суждения нельзя сообщать, и *мудрый человек не должен заниматься такими вещами* (выделено мной. — *А. П.*).

Ритор. Прекрасно сказано. Святой Августин говорит, что в его время жил один пьяница, который мог читать мысли, разоблачал воров и открывал другие скрытые вещи чудесным образом, хотя сам был легкомыслен и нисколько не умен.

Простец. Я знаю, что часто предсказывал вещи, как дух внушает, и причина оставалась мне полностью неведомой. Наконец, мне стало казаться, что *серьезному человеку не пристало говорить без причины, и я с тех пор молчу* (выделено мной. — *А. П.*)» [60, с. 458–459].

Как видите, дискурс «взвешивания» (измерения и предсказания) при всей своей эффективности, правильности, не рассматривается Кузанцем в итоге как *истинный*. Объяснение этого интересно вдвойне: из самого взвешивания не понятна причина, которая могла бы лежать в основе подобного желания — желания взвесить все! Более того, понятно то, что путем взвешивания мы как раз не проникаем в природу вещей, в их *собственную* причину — космос теряет собственный смысл, превращаясь пусть во внешне упорядоченное, но внутренне хаотичное (бес-причинное) скопление элементов. Точнее говоря, это неминуемо случилось бы, если бы описанный метод познания (и способ бытия) был единственно возможным. Ниже будет показано, как именно к такому эффекту приводит тотализация товарно-денежной формы общения людей и обращения вещей,

что было научно объяснено Марксом и блистательно адаптировано для «младшего и среднего возраста» Носовым («взвесить все!» это, очевидно, императив мировой экономики).

Известно, какова была революция, совершённая Николаем Кузанским в философии и науке. Так, Пиама Гайденко указывает на следующее фундаментальное обстоятельство: «Роль меры, какую у греков играло неделимое (единица), у Кузанца выполняет бесконечное — теперь на него возложена функция быть мерой» [26, с. 34]. Но, поскольку конечное и бесконечное несоизмеримы, любое знание о конечном может быть лишь *приблизительным* — причем *бесконечно* приблизительным.

> Как разъясняет Николай Кузанский, конечная величина не может стать бесконечной путем постепенного возрастания. Вот такого рода конечностью, могущей возрастать без предела, но никогда не могущей превратиться в актуальную бесконечность, Кузанец считает Вселенную [26, с. 48].

Поэтому рассудочное, дискурсивное знание (знание как подсчет и учет всевозможных «единиц» — знание Знайки!) здесь по определению окажется не-знанием, которое к тому же не знает себя в качестве незнания, оттого-то и возникает видимость, что перед нами якобы «знание, и ничего кроме знания» (не здесь ли корень нежелания Незнайки пройти до конца курс «физики-мизики»? Ведь если мир, по Кузанцу, это

экспликация «абсолютного максимума», то он неповторим, неточен, избыточен в *каждой* своей точке — оператором этой вот избыточности и является «Простец» Незнайка!):

> Рассудок, — пишет Николай, — ищет и пробегает — рассуждает (quaerit et discurrit). Пробегание-рассуждение (discursus) необходимо определено двумя границами — „от чего" и „к чему", друг от друга отличными, или, как мы их называем, противоположными. Так что для дискурсивного рассудка границы противоположны и раздельны. Ибо в области рассудка противоположности разделены, как в понятии круга, которое состоит в том, что линии от центра к окружности равны и центр не может совпасть с окружностью. Но в области разума (intellectus), который увидел в единице свернутые в ней числа, в точке — линию, в центре — круг, увидел совпадение единого и многого, точки и линии, центра и круга, — все это достигается видением ума без дискурсии» [26, с. 54].

Вспомните теперь про то, как устроен «прибор невесомости», это главное техническое изобретение Знайки, позволившее ему организовать предприятие по подтверждению своей научной гипотезы о происхождении кратеров на Луне («блинная теория»): минералы, названные «лунит» и «анти-лунит» (противоположности!), помещены на подвижную линейку, которая позволяет им приближаться и отдаляться друг от друга и тем самым — про-

изводить невесомость как легко управляемый эффект. Это, кстати, — наглядный образец использования, опытного применения *диалектики природы* (вопрос: обязательно ли тому, кто *знает*, как пользоваться плодами этой «диалектики», *быть* диалектиком самому?), когда случайно найденная мера так определяет количественную пропорцию взаимодействия двух различных качеств, что итогом с необходимостью выступает некое новое качество (невесомость). Но не следует забывать, что не Знайка, а именно Незнайка оказывается способным на интерпретацию этого изобретения *не* в техническом, то есть рассудочно-дискурсивном ключе — имеется в виду эпизод с «летающими рыбами», о котором речь шла выше: вместо того чтобы, к примеру, взвешивать их в целях предсказания погоды, он и вовсе лишает их веса!

Кстати, в «Философии природы» Гегель говорит о всяких «промежуточных» видах, которые будто бы свидетельствуют о бессилии природы достичь в своих порождениях чего-то «в себе и для себя истинного» [27, с. 432]; понятно, что знание, стремящееся следовать так понятой природе — желание быть исключительно *естество*-знанием — также не будет достигать истины на путях сколь угодно выдающегося технического усовершенствования. Но Незнайка-то желает как раз не вывести породу летучих рыб (он ведь не Знайка, который наверняка знает, что такие и так существуют в природе и, более

того, можно дать «научное объяснение» этого «факта») — он желает реализовать «космический коммунизм бытия», *освободить* жизнь от ее исключительной детерминации внешними обстоятельствами — нет, даже более того: просто усмотреть всегда уже достигнутое, не отложенное до «лучших времен» освобождение (как сказал кто-то из персонажей Жан-Люка Годара: с коммунистами я готов идти до самой смерти, но дальше — ни шагу!). Это ведь у Знайки «синтез» Земли и Луны работает исключительно для чего-то *иного*, и поэтому капитализм виртуально присутствует в его сознании: пусть в силу отсутствия на Земле материального дефицита все принадлежит всем, но зато тотальному «самоотчуждению» подлежат уже сами эти «все» — когда сама «форма жизни» нашего общества полностью вверена исключительной компетенции представителей «экспертного знания» (дисциплина, безопасность и прочие «техники», описанные Мишелем Фуко).

Конечно, каким именно манером лунит и анти-лунит притягиваются друг к другу и каков в итоге будет *истинный* эффект этого синтеза — говоря проще: какой в итоге окажется судьба «любителей летающих рыб» в обществе будущего, — заранее сказать нельзя. Но эпизод с рыбами поучительно сопоставить с изображением будущего у Шарля Фурье, этого *полностью свихнувшегося, за-знавшегося* Знайки (вопрос:

превратился ли он в итоге в подлинного Незнайку?): «Останутся только полезные породы, как мерлан, сельдь, макрель, морской язык, тунец, черепаха, наконец, все, кто не нападает на ныряльщика...»; как комментирует это место Ролан Барт, «чарует здесь не содержание (в конце концов, бесспорно, что рыбы — не вредители), но определенный прием, из-за которого утверждение вибрирует, направляясь к противоположной зоне: из какой-то зловредности, благодаря неодолимой метонимии, охватывающей слова, вырисовывается смутный образ, который — через запирательство — показывает мерлана и макрель, готовых напасть на ныряльщика... (это чисто сюрреалистический механизм)» [13, с. 122].

В самом деле, любопытно, что фоном развития будущей «ассоциации» у Фурье является террористическая, экстремистская сущность природы («ветрогоногенная», как покажет профессор Козявкин, о чем еще будет подробно сказано ниже) — возможно, потому, что это служит рефлексии пороков нынешней, капиталистической цивилизации. Нужно увидеть, что этот «смутный образ» (скумбрии-убийцы), от противного обретающий ясность посредством определенного режима работы с означающими — а чем же еще как не означающим оказывается «прибор невесомости» в руках Незнайки, бегущего к пруду? — отсылает, пусть и «чисто сюрреалистически», к тому самому

«космическому коммунизму бытия», о котором шла речь выше*.

Примером радикального развития идеи революционного перерождения самой природы в наши дни можно считать проект «политической онтологии рыбы», разработанный Оксаной Тимофеевой на основании концепций Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Жоржа Батая, Жиля Делеза и Андрея Платонова (жаль, что Незнайка, еще один величайший революционер-ихтиолог, не оказался в этом списке!):

* А точнее, к проблеме *подлинности* этого коммунизма — примером критики возможной его неподлинности может служить данная Вальтером Беньямином оценка «вульгарно-материалистического понимания труда», свойственного социал-демократам типа Йозефа Дицгена: «Оно (вульгарио-материалистическое понимание. — *А. П.*) восприимчиво лишь к прогрессу покорения природы, но не к регрессу общества. Оно уже обнаруживает технократические черты, позднее встречающиеся у фашизма. К этим чертам принадлежнт поиятие природы, роковым образом отличающееся от социалистических утопий, предшествовавших революции 1848 года. Труд, как он отныне понимается, сводится к эксплуатации природы, которая с наивным удовлетворением противопоставляется эксплуатации пролетариата. В сравнении с этой позитивистской концепцией фантазии, которые дали такую пищу для насмешек над людьми вроде Фурье, обнаруживают поразительно много здравого смысла. Согласно Фурье, результатом правильно организованного общественного труда должны были быть: четыре Луны, превращающие земную иочь в день, устранение льдов с полюсов, опреснение морской воды и переход хищников на службу человеку. Все эти видения служат иллюстрацией труда, который, не эксплуатируя природу, способеи помочь ей разродиться творениямн, дремлющимн в зародыше у иее во чреве» [14, с. 244].

Как мы видим, даже Маркс и Энгельс не смогли избежать этой рыбной метафоры. Однако с этим примером (в «Немецкой идеологии» речь идет о банальнейшей, казалось бы, ситуации: развитие промышленности может изгнать рыбу из ее «сущности», просто изменив экологию реки. — *А. П.*) привносится что-то совершенно новое, что-то, что очерчивает связь между животными, пролетариями и коммунистами. Сущность не соответствует своему бытию, ничего не соответствует самому себе — таков гегелевский урок. История создает себя из несоответствия (ср. с тем, что выше говорилось про роль ошибки. — *А. П.*), но это несоответствие — не какое-то недоразумение или несчастье, а необходимость (и здесь вступает Маркс с критикой идеализма Фейербаха). В связи с этим, возможно, одним из самых проблематичных моментов «Философии природы» Гегеля является предписание всем природным формам держаться своего Понятия. Это предписание фактически удерживает природу вне истории таким образом, что противоречие между ними ведет к «дурной бесконечности» взаимного искажения. Молчаливый бунт Марксовой рыбы обозначает необходимость революции как изменения на универсальном уровне. Причина неудобства, неуютности, неуместности того или иного живого существа в мире не столько в самом этом существе, сколько в мире, который вдруг становится для этого

существа невыносимым. Кто-то может возразить: «Рыбы не могут совершить революцию». Но могут ли пролетарии? [69, с. 313].

Незнайка, конечно, не готов согласиться с подобным возражением! Невесомость он понимает (не-знает) в *символическом* (не-техническом — не только и не столько техническом) смысле. При этом Незнайка абсолютно последователен в своей позиции, это ясно уже с первых глав первой части цикла, где Носов описывает нам его неудачные, как кажется на первый взгляд, попытки стать музыкантом, художником, поэтом, — но ведь вот что показательно: повествуя об этих попытках *стать* кем-то, Носов в названиях глав использует глагол «быть» в прошедшем времени («Как Незнайка *был* музыкантом, художником, поэтом...»), как если бы имели место не неудачи, но напротив — превосхождение, выход за пределы узких, канонизированных форм! *Как если бы каждая рыба уже была однажды летучей!* (Здесь как раз можно поспорить с Мариной Загидуллиной и ее тезисом о чуждости Носову жанра утопии: Незнайка — это подлинный утопист, поскольку он не одержим реализацией некоего фантазматического сценария, но событийно производит «у-топос», вводит в «умный» порядок бытия принципиально «заумный» элемент).

Таковы, например, попытки Незнайки поднатореть в поэтическом ремесле, так похожие на опусы капитана Лебядкина, этого предтечи

обэриутов и «ябеды на капитана Копейкина» (по выражению Александра Скидана): сравните незнайкино «Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку»* с хармсовским «Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор», ну и возьмите еще лебядкинское «Краса красот сломала член и стала вдвое краше» — а главное, обратите внимание на реакцию публики, которая напоминает, конечно же, знаменитую сцену из «Ревизора» с чтением письма... Незнайка изначально позиционируется Носовым как радикальный новатор и революционер — как тот, кто непрерывно трансгрессирует границы общепринятого, смысла и традиции, как принципиально неуместный субъект.

Или вот, скажем, персональная выставка Незнайки — в описании Носовым скандала на ее открытии трудно не увидеть неизбывную аллергию власти (скажем, предвосхищение известной реакции Никиты Хрущева на выставку в «Манеже») на слишком радикальный характер художнического «самовыражения»:

> Доктор Пилюлькин обиделся и сказал:
> — Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы

* Ниже будет показано, что в этом «абсурдном» стихе буквально изображена натура Знайки и природа знания — «перепрыгивать через овечку» означает закрывать глаза на факты капиталистического «обаранивания» и социалистической «ослизации».

у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь касторки дать.

Незнайка очень не любил касторку. Он испугался и говорит:

— Нет-нет! Теперь я сам вижу, что портрет плохой.

Он снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его [4, с. 21–22].

Важно, что зрители увидели в этих портретах явно что-то большее чем просто карикатуры — их, скорее всего, возмутило покушение на раз и навсегда установленные границы вещей («нельзя шутить!»); покушение на *знание* того, что все есть так — и должно быть и оставаться таким — как оно есть в своей *не знающей* противоречия «сути». Очевидно, что эта реакция направлена прежде всего на вытеснение того бессознательного знания, которое только и может дать о себе знать в форме не-знания — в искусстве, да и в поведении тоже, если они следуют принципу «нечувственного мимесиса» (насколько здесь уместен этот термин Беньямина), порождающего этих «докторов с градусниками вместо носа»*, чья «монструозность» негативно отсылает к какому-то иному (а точнее, как будет показано, именно *неиному)* видению мира.

* Конечно, градусник в случае Пилюлькина вполне мотивирован, и даже ослиные уши Знайки объяснимы — но вот почему Торопыжке пририсован собачий хвост, более или менее однозначно ответить едва ли возможно.

> Я иду вперед, как *незнающий*, которому ведомо только одно: *в течение нескольких лет я должен выполнить определенную работу*; спешить нет надобности, в этом нет спасения, скорее я должен продолжать трудиться со всем спокойствием и бодростью, настолько регулярно и концентрированно, настолько сжато и четко, насколько это только возможно. Мир касается меня при этом лишь постольку, поскольку у меня есть перед ним известное обязательство и долг [22, с. 315–316].

Это, впрочем, слова уже не Незнайки, а Винсента Ван Гога (из письма брату, 1883 г.) — но ведь и он, Незнайка, тоже как будто бы дает о себе знать в этих словах, когда буржуазно-рассудочным «долгу», «обязательству», «регулярности» противостоят неспешность, спокойствие и, конечно же, само *незнание**! А вот еще (из письма 1882 г., в котором Ван Гог пытается сделать предметом рефлексии процесс живописания):

> Я должен был, все же, писать быстро, так как эффект долго не держится; фигуры выведены не-

* Незнайка явно движим *желанием* — способностью, описанной Гегелем в «Феноменологии духа» и преодолевающей кантовскую оппозицию теории и практики, науки и морали. Но, конечно, если за всеми действиями Незнайки стоит «хитрость разума» (хитрость Знайки!), то — Незнайка погиб. Однако Носов сделал все возможное, чтобы показать как раз обратное: бесхитростный характер поступков Незнайки — это то, что идет всегда впереди и исхитряется привести всегда в другое место, чем *положенное* — вопреки ухищрениям полагающего.

> сколькими сильными мазками, широкой кистью, в один присест. Меня поразило, как крепко сидели стволы на заднем плане; я начал было писать их кистью, но поскольку почва уже была у меня покрыта толстым слоем краски, то мазок вязнул в ней, не давая никакого впечатления. Тогда я выдавил эти стволы и корни прямо из тюбика (учитывая, что *Тюбиком* звался «очень хороший художник», у которого брал уроки Незнайка, фраза эта обретает всю полноту своего значения! — *А. П.*) — и потом отмоделировал их немного кистью. И вот — они стоят в земле, растут из нее, крепко входят в нее корнями.
>
> Я рад, до известной степени, что *не учился* живописи. Тогда, может быть, я научился бы как-то обходить эти эффекты; теперь же я говорю: нет, это как раз то, что мне нужно, — если это невозможно, — пусть так! но все же я хочу попробовать, хотя и *не знаю* (на этот раз выделено мной. — *А. П.*), как это делается [22, с. 262].

Вместо того чтобы с помощью усвоенных приемов путем бесчисленных приближений вызывать эффект сходства изображения с чувственным обликом предметов, Ван Гог буквально порождает *не этот облик, а само бытие* деревьев на своей «картине». Когда читаешь это письмо, кажется, что художник уже перестал различать, где картина, где натура, как если бы мазок вязнул в реальной, а не только что написанной почве... Краска в тюбике перестала быть материалом, кисть — инструментом, дерево — «натурой», человек — «автором»,

они соединились в акте само-деятельности (противоположность «отчужденному» труду, по Марксу!), которому заранее не предпослано какое-то отвлеченное «знание-как...».

Возвращаясь к «взвешиванию» всего и вся в этом мире — знаменательно, что оно прерывается Простецом (Идиотом) в тот самый момент, когда, казалось бы, техно-знание стоит на пороге своей самой заветной мечты: предсказывать будущее — и не только погоду, но события в жизни людей!

Знаток и последователь Николая Кузанского в XX веке, Алексей Лосев в своей книге «Античный космос и современная наука» говорит, что пределом научного знания о материальном мире должны были бы стать алхимия и астрология, как способы понимания *всеобщей* взаимосвязи элементов и существ, но в то же самое время, будучи знанием о «меонизированном» (то есть всегда уже пораженном ничтожностью, ибо такова, по Лосеву и неоплатоникам, которым он следует, суть материальности) бытии, оно никогда этого предела не достигнет:

> Мы же должны сказать, что и *никогда, ни при каких методах и утончениях экспериментального и теоретического развития физики* не может быть достигнут такой атом, который бы дальше оказывался неделимым. И это — по простой причине: атом есть *меонизированный*, инобытийно-гипостазированный эйдос, а сущностью меонизации как раз

является беспредельное и непрерывное становление» [53, с. 209–210].

Ничего, Знайка в долгу не окажется и очень скоро покажет Лосеву где раки зимуют! Но зато какое блестящее описание сути того, что Незнайка называл «физикой-мизикой», не так ли? С другой стороны, разве то, что предлагается взамен, не похоже на какую-то идиотскую шутку: вместо прогрессирующего освоения космоса — парящие в невесомости рыбы, вместо все новых и новых, иных и иных знаний — что, что именно нам могут предложить?

А могут нам предложить вот что — да, именно: не что иное, как само... *неиное*! Ведь именно к такому выводу пришел Николай Кузанский в своем позднем сочинении «О неином» («De li non aliud»). *Неиное*: таково имя собственное космоса ровно в той мере, в какой он есть *он сам* и «незнаемо» постигнут не чем иным, как «ученым незнанием». «Неиное» — только такое имя адекватно сущности *абсолютного начала*, и в том числе начала всякого последующего его определения, ведь только в этом имени содержится указание на то, что есть *прежде* всего, *что* только ни есть. Помните, как Знайка допускал путешествие Незнайки на Луну не сейчас, а только по прошествии времени, когда тот «ума наберется»? Ирония, однако, состоит в том, что Незнайка — сам, впрочем, не зная как, — оказывается на Луне *прежде,* чем туда по-

спевает Знайка. И это «прежде» прежде всего *метафизично* — Незнайка словно бы *всегда уже* пребывает в не чем ином, как самом «неином» (поэтому в своем земном бодрствовании он ведет себя так, как будто видит сны о Луне)!

Но в чем же преимущество этого имени — *неиное*? А в том, что им ясно сказывается то важнейшее, что способно преодолеть сугубо *привативную* бесконечность знания, достигаемого исключительно посредством дискурсии: «Не видишь ли ты теперь с совершенной достоверностью, что неиное определяет себя самого потому, что не может быть определено через иное?» [61, с. 186–187]. В самом деле, в качестве примера можно взять предикат «единое», который, наверное, со времен Парменида и Платона обладает наиболее полными правами обозначать нечто предельное, сущностное, изначальное; и все-таки, эти права оспариваются Кузанцем (как и права других традиционных «трансценденталий»: сущего, истинного, благого):

> Нужно заметить, что, хотя единое и кажется весьма близким к неиному (так как все определяется либо как единое, либо как иное, так что единое есть как бы неиное), тем не менее единое, поскольку оно есть не что иное, как единое, есть иное в отношении к самому неиному. Следовательно, неиное проще (от того и требуется Простец-Незнайка для его незнающего уяснения. — *А. П.*) единого, пото-

> му что оно от неиного имеет то, что оно единое, а не наоборот [61, с. 192].
>
> Неиное не есть ни иное, ни иное иного, ни иное в ином; и это — ни на каком ином основании, кроме того, что оно никак не может быть иным, словно ему недостает чего-нибудь, как недостает иному. В самом деле, иному, поскольку оно есть иное в отношении чего-нибудь, не хватает того, в отношении чего оно — иное. Неиное же, так как оно не есть иное в отношении чего-нибудь, ничего не лишено, и вне его ничего быть не может» [61, с. 196].

Скажем, «рыбы есть не что иное, как рыбы»: перейти от этого тяжелого, ограничительного определения к «невесомой» стихии абсолютного начинания (к самой «неинаковости», скрытой под формой «рыбности») — вот тайная, и в то же время такая явная мысль Незнайки. Скажут: но разве Незнайка вследствие долгого пребывания на Луне не выразил тоску по Земле и солнышку (как всегда, великолепна реакция Знайки в этой связи: «Ты, Незнайка, какой-то осёл! Ну какое тут солнышко, когда мы на Луне или, вернее сказать, в Луне» [5, с. 522]) — разве он не *истерический, желающий субъект* (как его точно определил Виктор Мазин [56, с. 16–17]), который по определению всегда хочет чего-то *иного* (объект желания ведь принципиально «метонимичен», всегда «не-тот»)? Да, Незнайка, конечно, именно

таков, но вот в чем дело: это только с точки зрения Знайки то, на что направлено желание, есть каждый раз нечто иное (скажем так: определенное, *знаемое* иное) — ведь само знание как знание *предметное* вынуждено быть знанием всегда чего-то иного, чем оно само (значит, и само знание есть что-то иное в отношении к «своему» предмету). Но с точки зрения Незнайки (его не-знания) Земля и солнышко, наоборот, это символы именно *неиного* (архи-земли, сказал бы, возможно, Эдмунд Гуссерль):

> — Как жаль, — говорил Козлик Незнайке. — У нас теперь самая настоящая жизнь начинается, а ты улетаешь!
> — Ничего, — говорил Незнайка. — Мы еще прилетим к вам, и вы к нам прилетайте. А мне сейчас уже нельзя больше здесь оставаться. Мне очень хочется увидеть солнышко [5, с. 530].

Понятно, что «настоящая жизнь» *теперь* как-нибудь обязательно наладится на Луне, да и где бы то ни было еще, если только будет кому заботиться о «неином», тосковать по солнышку — полагать предел безудержной экспансии «иного».


БЕЗ КОФЕИНА ???

ГЛАВА 7
«ОН, ПРАВДА, БЕЗ ЧАЯ, НО ЭТО ТАКОЙ ЧАЙ БЕЗ ЧАЯ!», ИЛИ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВЕЩИ

Метаморфоз товаров как пример экспансии иного.— Образ скупого у Носова и Гоголя.— Стадия зеркала Скуперфильда.— Товар как руина.— «Беспорточные безработные» как специальность.— Как товарищ Скуперфильд на мгновенье почувствовал себя коммунистом.— Агамбен о «специальном бытии»: пользование vs собственность.— «Вы водку пили?», или Коммунистическое мгновение Гоголя.

РАЗВЕ не эта экспансия представлена в описанном Марксом «метаморфозе товаров»?

Товарное обращение не только формально, но и по существу отлично от непосредственного обмена продуктами. <…> Ткач несомненно обменял холст на библию, собственный товар — на чужой. Но это явление существует как таковое только для него самого. Продавец библии, предпочитающий горячительный напиток холодной святости, вовсе не думал о том, что на его библию обменивается холст; равным образом ткач совершенно не подозревает, что на его холст обменена пшеница и т. д. Товар лица *B* замещает товар лица *A*, но *A* и *B* не обмениваются взаимно своими това-

рами. Фактически может случиться, что *A* и *B* покупают взаимно друг у друга, но такое случайное совпадение отнюдь не вытекает из общих условий обращения товаров. С одной стороны, мы видим здесь, как обмен товаров разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами и развивает обмен веществ человеческого труда. С другой стороны, здесь развивается целый круг общественных связей, которые находятся вне контроля действующих лиц и носят характер отношений, данных от природы. Ткач может продать холст лишь потому, что крестьянин уже продал пшеницу; любитель водки может продать библию лишь потому, что ткач продал холст; винокур может продать свой горячительный напиток лишь потому, что другой продал напиток живота вечного и т. д.

Вследствие этого процесс обращения не заканчивается, как непосредственный обмен продуктами, после того как потребительные стоимости поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают оттого, что они в конце выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Они снова и снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищаются тем или другим товаром. Например, в общем метаморфозе холста: холст — деньги — библия, сначала холст выпадает из обращения, деньги заступают его место, затем библия выпадает из обращения и деньги заступают ее место. Благодаря замещению одного товара другим к рукам третьего лица прилипает денежный товар. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот» [57, с. 122–123].

Очевидно, прежде всего, что метафора пота призвана опровергнуть классическую установку буржуазного сознания, выраженного формулой «деньги не пахнут»: пахнут, еще как пахнут — прежде всего это дурной запах нищеты рабочих [68, с. 352–356]. Так, урок политической экономии капитализма, преподанный Козликом Незнайке, заключался в том, что бублик пахнет не только и не столько бубликом («потребительной стоимостью»), сколько деньгами («меновой стоимостью»: трудом, каталажкой, опять трудом, наконец, Дурацким островом — таков «метаморфоз» самого Козлика, а вслед за ним и Незнайки, которого также выдал полиции запах безденежья)... Далее: описанный здесь процесс формирования *ткани* капиталистического общества в точности совпадает с диалектикой «единого» и «иного», вся проблематичность которой, согласно Николаю Кузанскому, состоит в том именно, что каждое из них, и «единое», и «иное», оказывается чем-то иным — единое это «иное иного», товар это иное, чем деньги, как и наоборот. Дело здесь, очевидно, не просто в том, что всякая определенная вещь определена через отсылку к чему-то иному (как говорит Чужеземец в платоновском «Софисте»: «В каждом виде поэтому есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия» [64, 257a]: яблоко есть не-груша, не-слива, не-зверь, не-человек и т. д.). Скорее, нужно увидеть вот что: в товарной форме неразрывно связаны две сторо-

ны — «чувственное» качество (потребительная стоимость) и «сверхчувственное» количество (меновая стоимость). И лишь иллюзорным образом можно наслаждаться чем-то одним — так, как будто оно и есть «не что иное как само неиное»: иллюзорным, поскольку «иное» никуда не девается, а просто продолжает существовать в каком-то другом месте — вещь продолжает «мечтать» о том, чтобы обратиться в деньги, а деньги — о том, чтобы превратиться в вещь (Козлик мечтает о бублике, но, как заключает булочник, он мечтает о краже, то есть о *неоплаченном* потреблении). Оба ряда: обмен и потребление, меновая стоимость и стоимость потребительная — неразрывно связаны друг с другом, и в то же самое время не совпадают друг с другом ни в одной точке («товар лица *B* замещает товар лица *A*, но *A* и *B* не обмениваются взаимно своими товарами»). Поэтому товар, согласно Марксу, это как бы мельчайшая «клетка» капитализма, непрерывно формирующая его ткань как раз в силу внутренне присущего ему противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью меновой. Товаром, если угодно, движет желание тотальной капитализации мира, но «абсолютный товар» (или «абсолютное богатство»*) это фантазм, как живое, но более не потеющее тело.

* Любая конечная сумма денег, говорит Маркс, имеет «одно и то же призвание приближаться к абсолютному богатству путем увеличения своих размеров» [57, с. 162].

Значение же совершённого Незнайкой путешествия на Луну состоит в том, что его результатом стало выведение на свет как раз того самого *неиного, не-товарного* («солнышко», вопреки закрытости неба!) вида сущего и характерного для него способа бытия — притом происходит это очевидным для самих лунатиков образом, примером чего может послужить хотя бы эволюция лунного миллионера Скуперфильда. К этому персонажу, право, стоит присмотреться повнимательней. Продолжая параллели с Гоголем, следует подчеркнуть не только внешнее подобие, но и внутреннее сродство Скуперфильда с Плюшкиным: у обоих сквозь небывалое скряжничество просвечивает то самое «солнышко» — например, желание *дарить*. Плюшкин, как известно, хотел подарить Чичикову за проявленное им «беспримерное великодушие» свои часы, хотя потом и передумал, решив оставить их ему по завещанию. А вот, для сравнения, из рассказа Скуперфильда Крабсу:

> Вот, не верите? Честное слово! Один раз встретил на улице собачонку. Настолько хорошенький оказался цуцик, что я тут же решил зайти в магазин и купить ему ливерной колбасы, да, к счастью, не оказалось при себе мелких денег, а менять бумажку в десять фертингов не захотелось. Деньги, знаете, такая вещь: пока десятка целенькая — это десятка, а истрать из нее хоть пять сантиков — это уже не десятка. Гм! [5, с. 265].

Скуперфильд, конечно, точно так же противостоит Спрутсу, как Плюшкин — Костанжогло или Муразову из второго тома «Мертвых душ»: последние ведь с легкостью разменяют деньги и накормят цуцика, но ровно в той мере, в какой это будет способствовать их положительному имиджу, пусть даже и только в собственных глазах; они, таким образом, движутся *знанием* — знанием того, как разбогатеть, как обеспечить себе репутацию и т. п., короче говоря — знанием «иного»; что же до Чичикова, то он, разумеется, также следует за этим знанием, но при этом в его бессознательном живет его собственный «Незнайка», *капитан Копейкин*, который отклоняет его от выбранного пути, нарушая своим «вставным» характером последовательность «дискурсии» делового предприятия и обеспечивая таким образом «незаконченность» «Мертвых душ». Итак, Скуперфильд на собственном опыте узнает, что «денежный пот» свидетельствует отнюдь не о тепле — когда волею судеб оказывается в лесу, где устраивается на ночлег в дупле дерева:

> С наступлением темноты температура понизилась, и Скуперфильда начал пробирать холод. Чувствуя, что мерзнет все больше и больше, Скуперфильд снова обулся, надел на голову цилиндр, поднял воротник пиджака, а сверху положил на себя свою палку и чековую книжку, но от этого ему не стало теплей. До этого случая Скуперфильд слепо верил (как сказал бы Славой Жижек, деньги сами вери-

ли за него. — *А. П.*), что его чековая книжка, с которой он не расставался всю жизнь, способна выручить его из любой беды. На этот раз он на своем личном опыте убедился, что бывают все же случаи, когда ни банковский чек, ни наличные деньги не представляют собой никакой ценности [5, с. 300–301].

Последующая сцена встречи с «беспорточными безработными», которые буквально спасают Скуперфильда, просто замечательна. Вот описание жилища этих бедолаг, на которое натыкается в своих вынужденных странствиях владелец макаронной фабрики:

> У самой воды под большой, старой ивой стоял дом не дом, хижина не хижина, а скорее какая-то сказочная избушка. Все ее стены были испещрены какими-то непонятными картинками. На одной картинке был изображен коротышка в клетчатом плаще и с трубкой в зубах. На другой — точно такой же коротышка, и тоже с трубкой, но почему-то перевернутый вверх ногами. Над этим перевернутым коротышкой была чья-то огромная нога в начищенном до яркого блеска ботинке. Рядом была банка с черникой, зеленые стручки гороха, чья-то голова с волосами, покрытыми белой пушистой пеной, чей-то рот с красными, улыбающимися во всю ширину губами и огромными, сверкающими белизной зубами. Затем снова чья-то намыленная голова, но на этот раз лежащая набоку, чашка с дымящимся кофе, еще банка с черникой, огромной величины муха, опять нога... Все это было без

всякого смысла и связи, словно какой-то художник рехнулся, а потом вырвался на свободу и решил разукрасить попавшееся ему на пути строение своей сумасшедшей кистью.

И все же не это привело в изумление Скуперфильда. У него захватило дыхание, когда над входом в эту чудную хижину он увидел вывеску, на которой огромными печатными буквами было написано:

МАКАРОННОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СКУПЕРФИЛЬДА [5, с. 304–305].

То, что поначалу выглядело простенькой сказкой для маленьких детишек, по ходу дела приобрело характер вполне «недетского» описания поистине катастрофического руинирования как предметного, так и человеческого мира, выдвинув в итоге гипотезу о сумасшествии творца. Но более того, в какой-то момент все описанное, взятое в сумме, выступило еще и собственным портретом того, кто в данный момент разглядывал это «творение» — Скуперфильда! Реакция его оказывается поначалу столь же негативной, как реакция Пилюлькина на портрет, написанный Незнайкой. Авторство, однако, принадлежало теперь толпе полуодетых безработных, ютившихся в этой лачуге (безумие творца оказалось безумием в роли творца — безумием организации жизни в капиталистическом обществе!) — и вот, вместо еще только вчера наверняка озвученной бы Скуперфильдом угрозы «дать им касторку на ночь» (ну, точнее,

посадить их всех в каталажку, учитывая лунную специфику), сегодня из его уст доносится жалобное: «Здравствуйте, дорогие друзья, не найдется ли у вас чего-нибудь покушать? Честное слово, целую ночь ничего не ел» [5, с. 307].

Хижина, построенная из ящиков и коробок, некогда предназначенных для всевозможных «потребительских благ», реализует функцию своего рода стадии зеркала, но только это зеркало не осуществляет идентификацию субъекта с отчужденным образом его собственного тела, а наоборот — ставит его идентичность под вопрос, являя в качестве «означаемого» его имени груду обломков товарного мира — *чистой «инаковости», лишенной какого-то явленного единства* (или, учитывая поправку Кузанца, точнее будет сказать *«лишенной неинаковости»*). Как и в случае Ван Гога, мы, кажется, лишены знания, что перед нами — картина мира или сам мир; товар представлен здесь как пустая упаковка, как то, что осталось от потребительной стоимости после того как она перестала служить алиби для покинувшей ее стоимости меновой (тело, утратившее способность потеть) — и в то же время в своей предельной отчужденности он, этот только-в-прошлом-своем-бытии-товар, в настоящий момент служит *домом* тому, кто практически лишен всякой собственности*; вот ка-

* Можно сравнить это с трактовкой Теодора Адорно (из его письма к Беньямину, по поводу такой вещи как *одрадек*,

кой ответ получает Скуперфильд на свой вопрос о идентичности и роде занятий обитателей этого дома-портрета:

> — Мы, братец, так называемые беспорточные безработные. Слыхал, может быть, существует такая специальность? — ответил тот, который был без рубашки. — Когда-то и мы были не хуже других, а после того, как потеряли работу, опустились, как говорится, на дно. Вся наша беда в том, что у каждого из нас чего-нибудь не хватает. Вот видишь, у меня на теле нет даже рубашки, у этого нет ботинок, этот ходит без шапки. А попробуй покажись в городе без сапог или хотя бы без шапки, тебя сразу схватят фараончики и отправят на Дурацкий остров [5, с. 309–310].

В итоге эти «частичные», утратившие свой «товарный вид» коротышки* угощают замерзшего лунного миллионера чаем, про который Скупер-

описанной Францем Кафкой): «Понимать товар как диалектический образ — это значит понимать его именно как мотив его гибели и его „снятия", а не просто как мотив его регрессии относительно прошлого. Товар с одной стороны — это отчужденное, в котором отмирает потребительная стоимость, с другой — выживающее, которое, став чужим, переносит, выдерживает эту непосредственность» (Цит. по: [15, с. 208–209]).

* Поскольку книга «детская», Носов сущностную частичность (неполноценность, лишенность, инвалидность) человеческого существа репрезентирует через недостачу той или иной части туалета: шапки, башмаков, рубашки и т. п. Это, однако, сообщает описанию «отбросов общества» дополнительную силу и выразительность. Глубокий литературоведческий и философско-политический анализ этой

фильд узнает, что «он, правда, без чая, но это такой чай без чая» [5, с. 309]; тем не менее кипятка без сахара оказывается вполне достаточно, чтобы согреть не только тело, но и душу капиталиста — если судить по его немедленному желанию угостить картошкой своих новых друзей (можно вспомнить, как когда-то своих сокамерников угощал картошечкой Незнайка!). И вот, как «неиное» мы получаем в *любом** сущем, вычитая из него всякую о-пределенность (идентичность, персональность, принадлежность к определенному виду и роду), точно также и с чаем — его «неинаковость» можно уловить, лишь вычитая из него «чайность» вслед за не-кофейностью, не-лимонадностью, не-винностью... Но что же остается в итоге, спросите вы? «Ничто» и остается — мгновенно возникшие равенство и братство, *коммунизм* (к тому же еще и без сахара!).

Но если верно, что «космос не такая вещь, с которой можно шутить», то коммунизму — кроме шуток! — в таком случае в космосе места нет? Да, ему в самом деле не найдется места, если только понимать его как определенное «свойство» некой «субстанции»; и все-таки ему есть место, если речь идет — о самом *виде*

темы дал Мишель Сюриа в эссе «Фигуры человеческого отребья» (см.: [59, с. 175–194]).

* «Любое» Д. Агамбен рассматривает как важнейшую и до сих пор не концептуализированую трансценденталию, чья специфика схожа с характером «иенного» (см.: [6, с. 9–11]).

этой «вещи», о «неинаковости» мира. О виде, который более не представляет собой некое «свойство», то есть нечто «чье-то», «собственное». Так, в маленькой заметке, озаглавленной «Специальное бытие», Джорджо Агамбен пишет:

> Термин *species*, что значит «внешний вид», «видимость», «вид», происходит от корня, означающего «смотреть, видеть», и встречается в *speculum* (зеркало), *spectrum* (образ, призрак), *perspicuus* (прозрачный, ясно видимый), *speciosus* (красивый, показывающий себя), *specimen* (пример, знак), *spectaculum* (зрелище). В качестве философского термина *species* используется для перевода греческого *eidos* (как *genus* для перевода *genos*); отсюда тот смысл, который термин приобретет в науках о природе (виды животных или растений) и в языке торговли, где термин будет означать «товары» (особенно в смысле «пряностей», «специй») и, позднее, деньги (*espèces*) [7, с. 59].

«Зеркало», «призрак», «знак», «зрелище» в сочетании с «товарами» и «деньгами», казалось бы, не оставляют места для чего-либо, что априори не вписывалось в рамки космоса, капиталистического уже на уровне своей онтологии, — подобно Вергилию Данте, Агамбен словно бы проводит «вид» сквозь ад «Капитала» с его силами присвоения, захвата, идентификации, эксплуатации... И все же — это движение предполагает выход, но ценой, конечно, ради-

кально измененной установки сознания (если угодно, мировоззренческой революции):

> Превращение вида в принцип идентичности и классификации есть первородный грех нашей культуры, ее самая непоколебимая установка. Нечто персонализируется — его относят к некоей идентичности — только при условии принесения в жертву особенности. Специальное есть, на самом деле, бытие — лицо, жест, событие, — которое, *ни на что* не походя, походит на *все* остальное. Специальное бытие восхитительно, потому что предлагается, прежде всего, в общее пользование, но не может быть объектом частной собственности. Для персонального, напротив, невозможны ни пользование, ни наслаждение, но только собственность и ревность [7, с. 62].

Похоже, что как раз именно все эти термины *знания*, которыми оперирует отмеченная Агамбеном неизбывная воля к классификации, обеспечивают нашу неспособность мыслить коммунизм как общую собственность самого по себе бытия как-то иначе, нежели в форме персонального идиотизма как способа апроприации коммунального быта (греческое *idion*, от которого происходит «идиот», имеет значение «собственного» и традиционно противопоставляется «общему», *kainon* — что и лежит в основе способов классификации сущего). Но, следует повторить, вне этой логики остается само «неиное» — или, согласно Агамбену, *любое*, «*специ-*

альное» бытие (подобно тоскующему по «солнышку» Незнайке):

> Фердинанд. Если я тебя правильно понимаю, то можно представить, что неиное существует до всего так, что оно не может не быть во всем том, что оказывается после него, даже если одно из этого противоположно другому.
>
> Николай. Я считаю, что это так [61, с. 193].

Незнайка, конечно, свято следует заветам Гоголя, этого первого русского на Луне,— помните его озабоченность судьбою этого «необыкновенно нежного и непрочного» тела в случае столкновения с Землей? Носов тонко подчеркивает, что и внутри Луны (место, которое тамошние жители, естественно, считают Землею) Незнайка оказывается лунатиком. Трансцендентальный лунатизм, если следовать Гоголю, заключается в желании *спасти* Луну как место обитания наших носов от «тяжелой» земной материи; будет ли натяжкой заключить, что речь идет об озабоченности судьбою особого рода *опыта* — опыта, цель которого не «рациональное» извлечение «полезных свойств» предметов, но всегда только с ума сводящее своей неуместной самодостаточностью приобщение к «неинаковости» вещей, в силу которой каждая продуцирует миры, а не располагается где-то *в* мире, в какой-то его клеточке? Так, «беспорточный безработный» иронично определяется как некая *специ-*

альность, но если что в этом «специальном бытии» и учреждается, так это сообщество по ту сторону любой «специализации», так что даже миллионер приглашается к чаю.

А вот, например, типичная сценка из вполне себе «лунной» жизни, где водка из «товара особого рода» превращается в универсальный медиум общения (по формуле Агамбена, «походит на все, ни на что не походя»):

— Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька! — сказал Григорий Григорьевич.

Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?

— Вы водку пили? — спросила старушка.

— Вы, матушка, верно, не выспались, — сказал Григорий Григорьевич: — кто ж спрашивает гостя, пил ли он? Вы потчуйте только, а пили ли мы, или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу, золототысячниковой или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке.

Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот,

но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу.

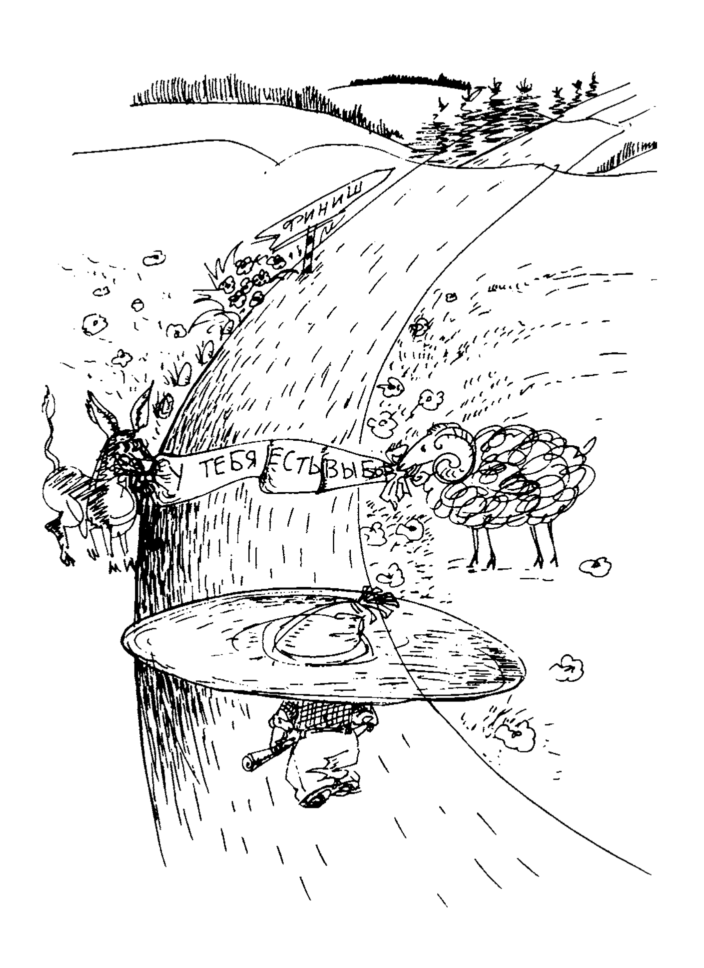
— Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить? [29, с. 202–203]

Повесть про Шпоньку начинается со слов: «с этой историей случилась история». Так вот, разве процитированная сценка не есть такого рода «необязательная история», которая «чешет против шерсти» историю *основную*? Ведь финальный сюрреалистический сон Ивана Федоровича, где жена предстает «дурной материей»*, указывает читателю на распад — а лучше сказать, провал — экономики как действительно «домостроительного» (тело- и душеспасительного) процесса: вместо этого — капитализм, тяжба с соседями об имуществе и т. п. Но в этой сценке все эти люди-редьки буквально порывают со своей тяжестью, на какое-то мгновенье становятся словно невесомыми, приобщаясь к угощению (прямо как Незнайкины рыбы!) — как если бы потребительная стоимость послед-

* Философская аналитика «дурной материи» дана в «Пармениде» Платона — это будет скопление («онкос») множеств, состоящих из других множеств, так что «даже если кто-нибудь возьмет кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как при сновидеиии, кажется миогим и из ничтожно малого превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления» [63, 164d]. Ср. это с тоской Шпоньки от иепрерывно умножающейся жены с лицом гусыни.

него раз и навсегда порвала со стоимостью меновой и из продукта «определенного класса» обрела чисто «специальное бытие»: позволила не пребывать в добрососедстве только лишь по видимости, но — растворила их в самой чистой видимости как сущности истинного добрососедства.

Наверное, такого рода события-встречи порождают затем ритуалы, как машины поминовения невоспроизводимого (того, что способно обитать лишь на Луне). Луна тогда, в своей сущности — это карнавал, где всякая «сценка» работает не на себя или кого-то другого, а на все и вся, при этом по-своему распределяя и перераспределяя роли (оттого и могут там жить одни только «носы»): слова и вещи, имена и отчества, огурцы и опенки, друзья и соседи, дочки и матери — все приглашены на бал к Ее Величеству Рюмке Водки, вокруг которой и кружат в своем немыслимом танце… И закон этой сцены — «ученое незнание», как принцип прозревания «абсолютного максимума» непосредственно через событие этой вот вдруг явленной сущности. Противоположность этому — ад сплошной «инаковости», который Николай Кузанский описывает как «темный хаос пустой возможности», прибавляя: «Мучительность такой жизни превосходит все, что только можно вообразить: ведь это значит жить в смерти, существовать в небытии, мыслить в безмыслии» [60, с. 172].


ФИНИШ
У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБ

ГЛАВА 8
«БЭ-Э-Э! МЭ-Э-Э!», ИЛИ О КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ

Дурацкий остров как топос абсолютного знания. — Сцена спасения как симптом. — Бодрийяр о современном капитализме как о «конце игры». — Обаранивание как субъективация. — Коммунизм в опасности, или Тревога Незнайки.

Кульминационной сценой не только последней части, но всего цикла о Незнайке, является, конечно же, описание «Дурацкого острова». Это так хотя бы уже потому, что субъективная сущность Незнайки здесь как бы объективируется: всё на этом острове будто специально создано для того, чтобы отражать существо «незнания». Однако хочется надеяться, что из предыдущего анализа ясно: это отражение имеет природу радикального идеологического искажения — на деле-то непрерывно монтируемые на Дурацком острове аттракционы демонстрируют лишь поощряемое «знанием» обыденное представление о незнании как очевидной «дури». Носов ведь неслучайно рассказывает, что на Луне издаются специальные «газеты для дураков», пользующиеся, как ни странно, большой популяр-

ностью — просто покупающие их коротышки приговаривают «интересно узнать, о чем там для дураков пишут?» [5, с. 295] (прекрасный пример того, что Славой Жижек назвал идеологическим «фетишистским отрицанием»: «я, конечно, в это не верю, но все же что-то в этом есть…»: сам-то я не глуп, *за меня* делает глупости газета). И именно поэтому, диалектически, Дурацкий остров выступает как место, где незнание (как действенная сила, как феномен) перестает быть возможным — субъект окружен только однозначными, позитивными, с ходу прочитываемыми «сущностями», забирающими все его время и без остатка растворяющими его в себе.

Таким образом, попадание Незнайки на Дурацкий остров совершенно закономерно, но — исходя из законов именно *диалектической* логики: позиция «абсолютного знания» достигается в итоге исключительно в форме единства радикальнейших противоположностей — «ученого незнания», воплощаемого Незнайкой, и, скажем так, «знаемой дури», персонификацией которой выступает — ну, кто бы вы думали? — Разумеется, Знайка собственной персоной! В доказательство вот вам сцена «спасения» им Незнайки:

Незнайка и Козлик, взявшись за руки, бросились бежать к пристани. Не успели они подняться по лесенке, как увидели, что с корабля сходят

по трапу Знайка, доктор Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Пончик (уже «спасенный» раньше.— *А. П.*) и несколько незнакомых лунатиков. От волнения сердце бешено заколотилось у Незнайки в груди, и он остановился, не смея ступить дальше ни шагу, только пробормотал:

— Кажется, мне сейчас распеканция будет!

Знайка в сопровождении остальных коротышек подошел к Незнайке.

— Ну, здравствуй,— сказал он, протягивая руку.

— А вы что же, голубчики, не могли прилететь раньше? — сказал Незнайка, даже не ответив на приветствие Знайки.— Мы тут их ждали, ждали, чуть не превратились в баранов, а им хоть бы что! Тоже спасители называются!

— Я с тобой, дураком, и разговаривать после этого не хочу! — сердито ответил Знайка.

— Ты бы лучше сказал спасибо, что хоть теперь прилетели,— сказал доктор Пилюлькин.— Как ты себя чувствуешь?» [5, с. 505].

Носов великолепно показывает, как совмещаются друг с другом два плана: во-первых, идеологически корректное («единственно верное») прочтение, когда акцент делается на вопиющей неблагодарности Незнайки, к тому же «самого во всем виноватого» (вспомните ту *допущенную цензурой* версию «Повести о капитане Копейкине», где, согласно авторскому комментарию Гоголя, оказывается «ясно, что он (капитан Копейкин.— *А. П.*) всему причиною сам и что с ним поступили хорошо» [31, с. 441]); но, во-вторых, имеется и со-

общение другого рода, которое должно быть усвоено под формой «первой версии»: любое «своеволие», нарушение диспозиции знания и ослушание его полномочных представителей (технократов, экспертов, администрации и т. п.) чревато «обараниванием». Иначе говоря, каждый «простой коротышка» должен знать, что его человеческое обличье «даровано» ему, на деле же — предоставлено строго на определенных условиях и может быть затребовано назад, вследствие «неисполнения условий договора» (пример такого условия: иметь шляпу как символ лояльности и минимальной состоятельности — о чем Незнайка узнает сразу же по прибытии на Луну). Стоит ли говорить, что сердце Незнайки «бешено колотится», поскольку он искренне рад видеть друзей? Но грубость и нежелание ответить на рукопожатие выражают, конечно, его принципиальное отношение к той инстанции *знания-власти*, которую его друзья (конечно, каждый по-своему) представляют.

«Дурацкий остров», описанный Носовым, это, конечно же, изображение современного капитализма — в той мере, в какой ему присуща тенденция на уровне видимости преодолевать отчуждение, характерное для его ранних, «классических» фаз. Собственно, здесь вам уже больше не нужны шляпа (знак принадлежности к определенной социальной страте) и труд (негативный, болезненный, страдательный ха-

рактер деятельности), чтобы *производить*. Абсолютно гомогенное общество и абсолютно гомогенный характер жизнедеятельности, непосредственное, лишенное какой бы то ни было противоречивости, единство производства и потребления! Концептуальное истолкование (для «взрослых») «Дурацкого острова» можно найти, например, у Жана Бодрийяра:

> Вас больше не отрывают грубо от обычной жизни, чтобы бросить во власть машины,— вас встраивают в эту машину вместе с вашим детством, вашими привычками, знакомствами, бессознательными влечениями и даже вместе с вашим нежеланием работать; при любых обстоятельствах вам подыщут подходящее место, персонализированный job — а нет, так назначат пособие по безработице, рассчитанное по вашим личным параметрам; как бы то ни было, вас уже больше не оставят, главное, чтобы каждый являлся окончанием [terminal] целой сети, окончанием ничтожно малым, но все же включенным в сеть,— ни в коем случае не нечленораздельным криком, но языковым элементом [terme], появляющимся на выходе [au terme] всей структурной сети языка. Сама возможность выбирать работу, утопия соразмерного каждому труда означает, что *игра окончена*, что структура интеграции приняла тотальный характер [16, с. 62–63].

Очевидно, что данная картина пародийно отсылает к знаменитому описанию коммунизма из «Немецкой идеологии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (которое само выглядит

пародийно) — как такого общества, где «никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли», где есть «возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» [58, с. 32]. Носов и его Незнайка просто-напросто доводят это описание до его логического конца: «не делая меня охотником, рыбаком, пастухом или критиком — а делая *просто бараном**!». Обратите внимание, что на Дурацком острове не только едят, спят и развлекаются, но и играют в игры, предполагающие тактическое и стратегическое мышление («шарашки», к примеру) — аналогия с корпоративным менеджментом здесь напрашивается сама собой! Конечно, *некоторое время* о прошлом «разделении труда» напоминает постепенное разделение коротышек «по интересам»: «Помимо шарашников, — пишет Носов, — здесь были карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картежники и козлисты» [5, с. 499]. Разница, однако, в том, что это

* Кстати, в этом же месте «Немецкой идеологии» в качестве «бараньего» характеризуется племенное, еще не получившее исторического развития, сознание архаического человека — история очеловечивания есть история разбаранивания! [58, с. 30].

разделение куда более пластичное и специализация носит всецело «добровольный» характер, — именно поэтому нет больше, как говорит Бодрийяр, «нечленораздельных криков», выражающих протест против радикального отчуждения, невольной замкнутости в узком круге деятельности, а есть, напротив, вполне артикулированный «языковой элемент», просто помечающий дигитальное различие между, скажем, «киношником» и «шарашником». Этот «конец игры» (Бодрийяр) или «конец истории» (Кожев) и есть то жуткое, вытесненное (не)знание, которое постигает Незнайка в своих блужданиях по Дурацкому острову; описание Носовым данной сцены заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь целиком:

> Однажды друзья с утра забрались на карусель и довертелись до того, что Незнайка почувствовал головокружение и свалился на землю. С усилием поднявшись на ноги и пошатываясь точно пьяный, он принялся бродить по апельсиновой роще. Перед глазами у него все было словно в тумане. Через некоторое время он вышел на опушку рощи и увидел вдали плотный деревянный забор, покрашенный голубой краской. Не понимая, как попал сюда, Незнайка остановился и в это время услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из-за забора:
>
> — Бэ-э-э! Мэ-э-э!
>
> Решив узнать, какое существо издает эти странные звуки, Незнайка подошел к забору и хо-

тел заглянуть в щель, но это ему не удалось, так как доски забора были пригнаны плотно. Недолго думая он ухватился за верхушки досок руками и залез на забор. Перед его взором открылся зеленый луг, невдалеке тек ручей, а за ним чернел лес. На лугу, сбившись кучей, паслось стадо белых барашков. Два рыжих кудлатых пса стерегли их. Как только какой-нибудь из барашков отбивался от стада, собаки с лаем бросались к нему и загоняли обратно.

У забора, поблизости от Незнайки, словно стог сена возвышалась куча бараньей шерсти. Несколько коротышек сидели на корточках возле кучи и, вооружившись большими ножницами, стригли баранов. Бедные животные спокойно лежали на земле со связанными ногами и не издавали ни звука. Закончив стрижку, один из коротышек развязал барашка и, подхватив под животик рукой, поставил на ноги. Неловко переставляя затекшие от неподвижности ножки, барашек заковылял к стаду. Без своей пышной шубейки он казался чрезвычайно худеньким и до того комичным, что Незнайка, глядя на него, едва удерживался от смеха. Барашек между тем остановился и, повернув голову набок, жалобно заблеял:

— Бэ-э-э!

«Так вот кто здесь кричит!» — сообразил Незнайка.

От этой мысли ему почему-то стало не по себе.

В это время послышался шум мотора, и Незнайка увидел, как к шерстяной куче подкатила грузовая машина. Коротышки оставили стрижку и принялись грузить шерсть в кузов. Шофер вы-

сунулся из кабины и, увидев Незнайку, весело замахал рукой.

— Эй, а тебе тоже сюда захотелось? — закричал он. — Погоди, скоро и тебя остригут! Ха-ха-ха!

От этого смеха у Незнайки пробежал по спине холодок. Мигом вспомнились ему все рассказы о том, что делается с бедными коротышками на Дурацком острове. Оторопев от испуга, он соскользнул с забора и, не чуя под собой ног, побежал обратно.

— Стойте, братцы! — закричал он, подбежав к коротышкам, которые вертелись на карусели. — Стойте! Надо бежать скорее! [5, с. 501–502].

Без преувеличения, налицо подлинный шедевр в изображении ситуации *узнавания* («Узнавание же (anagnōrisis), как ясно из названия, есть перемена от незнания к знанию, [а тем самым] или к дружбе, или к вражде [лиц], назначенных к счастью или к несчастью» [12, 1452a 30])! Все начинается, как водится, со случайного события, запускающего механизм раскрутки постепенного самообнаружения истины, благодаря чему герой как бы выпадает из реальности, пребывает некоторое время в странном «междумирьи», в состоянии, которое сродни опьянению или сновидению. При этом, учитывая, что жизнь на Дурацком острове сама во многом выглядит ирреально, все происходящее в дальнейшем предстает то ли как выход из сна, то ли — как сон во сне.

Так, в какой-то момент блуждание вдруг приводит к тому, что герой оказывается у некой

черты (голубой забор), из-за которой слышатся «странные звуки», каковые тем не менее однозначно воспринимаются им как призыв (как если бы в этом «Бэ-э-э! Мэ-э-э!» Незнайка узнавал звуки своего собственного тайного имени). Забор плотный, непроницаемый — и в то же время эта плотность лишь подталкивает без особого труда влезть на него и таким образом заполучить прекрасную точку обзора — то есть преграда с одной стороны отчетлива, с другой же совершенно фиктивна. И вот — распахнувшаяся ширь горизонта, дальний план, заполненный вполне идиллическим пейзажем: ручей, луг, лес, мирно пасущееся стадо барашков, два пса, стерегущие стадо — стоп! С одной стороны, псы — это вроде бы знак заботы, но, конечно, в сознании Незнайки они не могут не отослать к первому дню его пребывания на Луне, когда он благодаря Цезарино и Милордику раз и навсегда уяснил себе, что же такое частная собственность (что такое деньги он, как все помнят, узнал сразу же вслед за этим — благодаря полицейской дубинке и тюремному заключению). О собаках было подробно сказано выше — появившись в самом начале истории, они играли роль пролога к истине*; теперь же,

* Была еще парочка в середине — Роланд и Мимишка, «няней» которых работал Незнайка, чтобы добыть средства для лечения больного Козлика. Именно их «собачья натура» (см. выше тезис Фрейда) привела к тому, что Незнайка быстро теряет эту работу, — хозяйка буквально учуяла

в эпилоге, надо сказать об охраняемых этими псами барашках — вот они-то и есть *сама истина* в ее законченной, совершенно конкретной форме (теперь наконец-то «игра закончена», по слову Бодрийяра)!

Конечно, стадо баранов, мирно пасущихся под бдительным контролем кудлатых псов и в самом процессе своей жизни непрерывно производящих и воспроизводящих богатство — это наиболее точный образ современного капитализма: да, безусловно, здесь есть *момент* «игры в шарашки» — конкуренция, тактика и стратегия, процесс принятия «творческих решений» и вся прочая галиматья от Фридриха фон Хайека до Владислава Иноземцева, служащая эстетическим облагораживанием реальности (как если бы каждому представителю офисного планктона светило однажды стать «крупной рыбой», «акулой бизнеса», оседлать волну конъюнктуры и воспарить в свободном полете, наслаждаясь видом бесконечных барашков на поверхности мирового океана!) — но *в целом, в конечном счете,* для функционирования системы требуется именно мирно пасущееся стадо, непрерывное разрастание «голой жизни», управляемой заботливой «пастырской властью» (к тому же, кто не помнит, что классический капитализм начался с огоражива-

запах социального дна, связь с которым поддерживал нанятый ею работник, а нанятый ею же частный детектив уже разнюхал все подробности.

ния, с захвата общинных земель для производства шерсти!)*. Какие, к черту, летучие рыбы? «Вы, матушка, верно не выспались»?

Вот почему в следующий момент взгляд Незнайки переключается с дальнего «идиллического» плана на ближний, где эта идиллия мгновенно разрушается, раскалывается на свои абстрактные элементы (как если бы из зала с картинами какого-нибудь реалиста типа Шишкина или Серова вы перешли в зал с полотнами кубистов): да, теперь уже не стадо белых пушистых барашков, а — отдельно лежащая куча бараньей шерсти и отделенный, абстрагированный от нее *сам* барашек («абстрактный труд» Маркса изображен Носовым абсолютно *in concreto*, налицо ведь не мысленная, а совершенно «реальная абстракция»!). Что до шерсти, в свою очередь также отделенной от барашка, то она и есть в чистом виде «субстанция» капитализма — совершенно податливая, эластичная материя, никакой поли-

* В своих «Лекциях о торговле, или о гражданской экономике» Антонио Дженовези, ставя задачей экономическое просвещение своего народа (то есть — формирование капиталистической идеологии в неаполитанском обществе XVIII века), во введении говорит о важности «искусства управления множеством людей и поддержания их мирного существования», каковое Платон называл *агелотрофией*, то есть буквально «кормлением стада» («...e questa un'*Agelotrofia* dice gravemente Platone, cioè l'arte di pascere una compagnevole *moltitudine* e mantenerla in pace». См.: [79, p. 11]).

тики, одна экономика, то есть рациональное управление жизнью масс!*.

Что же касается услышанных «бэ-э-э!» и «мэ-э-э!», то вот это и есть предел языка, достигая которого, он становится всего-навсего однозначным информационным сообщением (Бодрийяр: «не членораздельный крик, но языковый элемент, появляющийся на выходе всей структурной сети языка»): я жив, со мной все в порядке, готов вернуться в стадо и продолжать производить!

Уместно, кстати, напомнить: Незнайка сам ведь начинал как художник вполне модернистского толка! Здесь же он, впрочем, «едва удерживается от смеха», как если бы приходилось мобилизовать все ресурсы обывательского восприятия для того, чтобы все-таки избежать узнавания себя в этой «абстракции»! Но вот остриженный барашек издает свое жалобное «Бэ-э-э!» снова, и Незнайка просекает, наконец, кто же такой здесь кричит. (Он что, рань-

* Не случайно и то, что Маркс, показывая отличие такого сущностного социального свойства товара, как его стоимость, от всех его прочих чисто натуральных свойств, говорил: «Как потребительная стоимость, холст есть вещь, чувственно отличная от сюртука; как стоимость, он „сюртукоподобен", выглядит совершенно так же, как сюртук. Таким образом, холст получает форму стоимости, отличную от его натуральной формы. Его стоимостное бытие проявляется в его подобии сюртуку, как *овечья натура христианина — в уподоблении себя агнцу божию* (выделено мной. — *А. П.*)» [57, с. 61].

ше не слышал блеяния овец, что ли? Но Носову, очевидно, требуется показать всю мощь идеологического отвержения, вытеснения знания об истинном положении вещей.)

И, наконец, переход от идентификации объекта к идентификации *с* объектом и, таким образом, *самоидентификации* субъекта — теперь уже посредством вполне человеческой речи: «тебя тоже остригут, ха-ха-ха!». Ситуация переворачивается: если только что Незнайка сам готов был хохотать над видом несчастного барашка, теперь он оказывается на его месте сам! А точнее говоря, он (благодаря словам шофера, а еще больше благодаря его смеху) обращается в *субъекта* всей предшествующей картины: забор, пастбище, собаки, стрижка, шерсть, голый, жалобно блеющий барашек — все это теперь *он сам*, та форма жизни, которая априори предписана ему в данных конкретных условиях! Или, вернее (различие, абсолютно существенное для нас, на стирание, игнорирование этого различия направлены все силы идеологического аппарата), — то, кем он станет *через миг*, тот самый миг, в котором сконденсирована вся предшествующая история, миг, который нельзя упустить, миг, в котором живо еще *братство коротышек*, не успевших превратиться в стадо баранов! Миг, когда, перед лицом катастрофы, вспыхивает возможность спасения, как говорил Вальтер Беньямин... (Очевидно, что этот процесс во многом аналогичен тому, что про-

изошло со Скуперфильдом: и там и здесь герой сталкивается с истиной как изнанкой существующей формы жизни; неслучайно ведь Скуперфильд на какое-то время приобщается к братству «беспорточников», то есть очевидных кандидатов на пополнение населения Дурацкого острова — он узнает себя в них, видит себя таким же, как они, «частичным человеком», а затем, уже после лунной революции, начинает с энтузиазмом трудиться на «собственной» макаронной фабрике).

Каждому, кто искушен в теории Жака Лакана, очевидно, что Носов как по нотам разыгрывает перед нами действие механизма *тревоги* — той самой, которая, согласно предложенной «французским Фрейдом» формуле, «объекта не лишена». Какова же логика этого механизма? Прежде всего, говорит Лакан [48, с. 114], происходит «первичная идентификация с зеркальным образом, изначальная ошибка, в которую впадает субъект относительно того, что он, в целом, собой представляет». (Можно понять это так: ошибка в том и состоит, что субъект *не* может быть представлен исчерпывающим образом, «в целом»). Но далее, в силу отчужденного характера того образа, с которым себя идентифицируют, возникает сбой — субъекту оказывается трудно отличить себя от другого (в самом деле, *за что* нас, например, любят, что в нас есть *такого*, чего нет у других, — деньги, ум, красота?). И вот «тогда-то и появляется

в качестве посредника между ними общий им обоим объект, предмет соперничества, чей статус связан с понятием принадлежности — он либо мой, либо твой». И верно — тот факт, что Незнайка уселся на забор и стал наслаждаться открывшимся ему зрелищем во всем его диапазоне, от прекрасного до непристойного, отнюдь не гарантировало ему, как вы помните, привилегированного статуса: сам он оказывается тем же бараном, которому кудлатые псы (полиция, менеджмент) лишь до поры до времени позволяют посидеть на заборе (для того, к примеру, чтоб кончали всю эту «устаревшую» болтовню про эксплуатацию, отчуждение и т. п. — вы что, господа, не слышали, что давно уже объявлен «конец идеологии»?). Но Незнайка, слава богу, не без остатка «интерпеллирован», он слетает с забора (будто рыба, срывается с крючка) и подает сигнал бедствия («Стойте, братцы! Надо бежать скорее!», это-то и есть тот самый «нечленораздельный крик», разрыв в сети, о котором говорил Бодрийяр) — так вот: тем, что усадило его на забор, и тем, что его оттуда сорвало, как раз и была тревога.

Тревога, заключает Лакан, возникает ровно тогда, когда в область обмена вступают объекты, которые не имеют с этой областью ничего общего — объекты, которые по определению не могут быть объектами «рыночной котировки», определяться в своем статусе конкуренцией, т. е. это объекты, сущность которых

изначально неадекватна товарной форме обращения. Речь идет об объектах, которые «предшествуют формированию мира предметов, подлежащих обмену, обобществляемых» [48, с. 114] (как показал Карл Поланьи, в основе капитализма лежат такие *фиктивные* товары, как труд, земля и деньги, — фиктивные, поскольку речь идет о реалиях трансцендентального, то есть выходящего за рамки той или иной категории, характера [66, с. 82–91]; заметьте, что каждый из них по-своему способен вызывать тревогу, хотя в редуцированной форме — напротив, является средством от нее).

Кажется, что Лакан испытывает затруднение в выборе терминов: нельзя ведь сказать, что раз в случае указанного рода объектов не должно быть «обобществления», то речь должна идти о какой-то «неотчуждаемой личной собственности» — откуда бы тогда взялась тревога? Поэтому, скорее, этот «парадоксальный» объект (так, кстати, о лакановском «объекте *a*» говорит Жиль Делез в «Логике смысла») предшествует разделению на «личное» и «обобществленное» (или «подлежащее обмену»), он есть «условие возможности» такого разделения — парадоксальный объект, который в то же самое время есть трансцендентальный субъект! В этом смысле наиболее адекватным определением его сущности будет предложенный Лаканом неологизм «экстимность» — нечто настолько глубоко внутреннее, что для са-

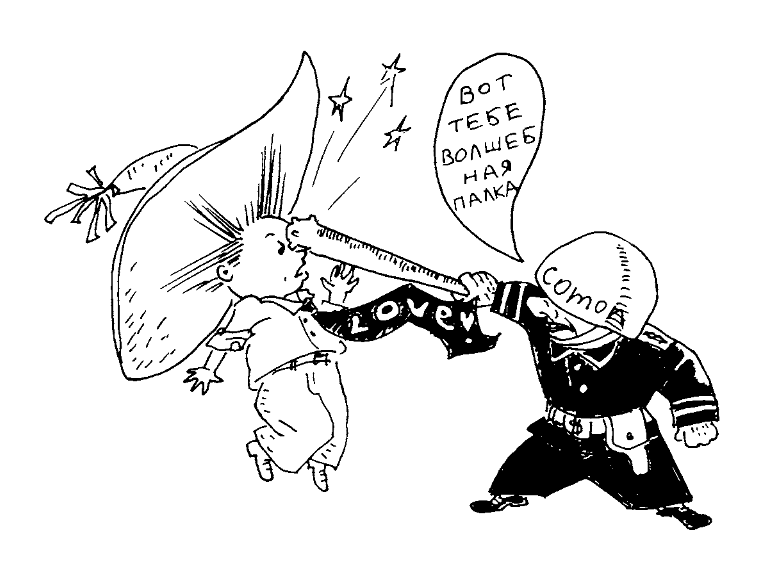
мого «субъекта-собственника» оно предстает как внешнее: нечто, никем не приватизируемое, как основание бытия-собой для каждого — *общее-как-ничье**.

И этот «объект», как наверное, уже догадался читатель, есть не что иное, как *коммунизм*, о присвоении которого миром капитала (миром производства прибавочной стоимости, обмена, конкуренции) и сигнализирует тревога: «Бэ-э-э! Мэ-э-э!» — звуки, в которые на глазах (точнее, ушах) у Незнайки превращается человеческая речь**. Важно, что конституирует ее особую природу именно возможность «нечленораздельного крика», которая как раз и «отстригается» в первую очередь: стадо баранов на том месте, где только что было сообщество, «братство» коротышек... Смех шофера, в свою очередь, подчеркивает: тебя не просто используют в том или ином качестве (и количестве), тобой *наслаждаются* — целиком

* О юридических категориях «общего» и «ничейиого» и их политическом смысле см.: [54].

** Тревога за коммунизм, переходящая в тоску по нему — свойство многих героев Андрея Платоиова. Таков, например, Чепурный из «Чевенгура», который чувствует, что «ослаб от коммунизма»; или Прущевский из «Котлована», неспособный отказаться от переживания своей утраты — а отсюда такой характерный жест: он отправляется брнться в парикмахерскую ночных смен, поскольку любит, чтобы «во время тоскн его касались чьи-нибудь руки» (см. об этом подробно в пока не опубликованной работе Яны Комогорцевой «Коммуннзм и меланхолия: социально-фнлософский аналнз прозы Андрея Платонова»).

и полностью, без остатка, распоряжаясь твоей сущностью (нужна не просто шерсть, как полезное, ценное «благо», нужно и то, что остается в итоге — жалкий барашек; или, словами Маркса: не только твой труд, но и ты сам — как рабочая сила...). Кстати, в русском языке слово «тревога» имеет в корне «три», означая таким образом троекратный крик, предупреждающий об опасности; поэтому неслучайно, что «Бэ-э-э! Мэ-э-э!» Незнайка также слышит именно три раза, причем в третий раз — от своего друга Козлика, когда тот уже не мог больше сопротивляться своему «обараниванию» (кстати, «естественность» данного процесса констатировал Скуперфильд в своей беседе с «беспорточниками»). Отныне никакого «нечленораздельного» желания, никаких «летающих рыб», только «бэ-э-э» и «мэ-э-э», вход и выход, инвестиции и отдача!


ВОТ ТЕБЕ ВОЛШЕБ НАЯ ПАЛКА
LOVE

ГЛАВА 9
«НЕ БУДЕМ ПРЕДАВАТЬСЯ УНЫНИЮ», ИЛИ БИОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ПРОФЕССОРА КОЗЯВКИНА

Незнайка как последователь «традиции подозрения» и критик «научного коммунизма».— Солнечный город как коммунистический рай.— Незнайка-политэконом.— «Волшебная палочка» и теория исторического скачка.— Незнайка и его двойник.— О чем свидетельствует совесть?— Ветрогонство и антиветрогонство.— Солнечный город как «полицейское государство».— Коммунистическая тоска.— Проспект «открытия» профессора Козявкина.— Сегрегация «ослов» и коммунистическая Лета.

Итак, «слухи» о превращении коротышек в баранов стали реальностью не только благодаря тому, что рассказанное было подтверждено «картинкой», но и, что гораздо важнее, Незнайка сам на мгновенье почувствовал себя оказавшимся внутри этой «картинки», увидел себя со стороны (понял, что это не он смеется, а над ним смеются). Иначе говоря, случилось невозможное: увиденной и осознанной была ситуация, кото-

рая по определению исключает возможность видения и осознания. В баранов, как известно, превращаются коротышки, у которых нет даже шляпы — то есть той минимальной иллюзии, которая делает возможным *незнание* о своем реальном положении: что ты давно уже (даже не потенциальный, а совершенно действительный) баран, а не коротышка; ты — определенный запас рабочей силы, производительной энергии, а не человек. И, разумеется, возникает вопрос: не есть ли эта «картинка» картина нашего мира в целом? Не есть ли «внешняя Луна», эта скорлупа капиталистического ореха, а за ее пределами — и вся остальная Вселенная, включая как открытую лучам Солнца «социалистическую» Землю, так и само Солнце, лишь та же шляпа, великая «трансцендентальная иллюзия», поддерживающая нашу общую веру в то, что космос будто бы не полностью капитализирован, что это только так, кое-где, в закоулках и черных дырах, да и то, для лентяев и тунеядцев предусмотрена такая участь (которая, кстати, может быть истолкована и во вполне позитивном ключе: все-таки даже дуракаваляние предполагает минимальное участие в общем благе — производство шерсти, или даже простой лояльности режиму!)?

Незнайка это, конечно, представитель «традиции подозрения» (так Поль Рикер окрестил линию Маркс — Ницше — Фрейд), а если точ-

нее, ее, так сказать, спонтанный практик: ведь если обыкновенные коротышки живут и наслаждаются жизнью ровно в той мере, в какой они *не знают* истины, то само их незнание как раз чем-то истинным не является — ведь всегда есть некий «Знайка», который берет на себя осведомленность о том, что «жизненно необходимо» и потому должно быть благоразумно (ради, опять же, «общего блага») вверено специалистам. О Дурацком острове, конечно, слышали все — но, даже отправляясь туда, предпочитают доверяться такому вот «Знайке»: Носов описывает, как еще на корабле плакавших коротышек стал утешать один голопузый краснобай, утверждавший, что возможно про баранов это еще и неправда, а главное, «сыты будем — как-нибудь проживем» и «поживем — увидим» [5, с. 493]. Нет, не во имя такого «утешительного» (и потому всегда уже ложного) незнания выступает Незнайка — его, конечно же, интересует предел знания как такового, «абсолютного знания»! А в терминах советской эпохи это может означать только одно: Незнайка это радикальнейший критик так называемого *научного* коммунизма — во имя коммунизма *истинного*! Чтобы убедиться в состоятельности этого тезиса, нужно *вернуться* на Землю, то есть переосмыслить содержание первых двух частей цикла в лунной — а точнее, дурацко-островной, «бараньей», — перспективе.

Апогеем земного жизненного устройства у Носова выступает, конечно же, описание Солнечного города — кстати, именно благодаря путешествию туда Незнайки обитатели Цветочного города впоследствии перенимают целый ряд технических новшеств, качественно изменяющих их собственное существование. Ракета, построенная «Знайкой со товарищи», также возникает благодаря сотрудничеству Знайки с солнечноградскими учеными Фуксией и Селедочкой — встреча с которыми, кстати, изначально планировалась для Незнайки и его спутников! Жизнь в Солнечном городе — это, конечно, картина будто бы полностью реализованного коммунизма, чьими предпосылками, как и положено, оказываются прежде всего достижения, возникшие в ходе научно-технической революции (НТР); при этом речь, конечно, должна вестись не только о прогрессивных технологиях материального производства, но и о новой культуре человеческих (социальных) отношений. На фоне открывшейся перспективы (если хотите, воплотившейся утопии) реальность жизни в Цветочном городе мгновенно обнаруживает черты «первобытного коммунизма», в рамках которого уже зреют те «противоречия», которые рано или поздно, согласно марксистской теории, должны привести к его трансформации (и в итоге вырвать человека из «идиотизма деревенской жизни»):

— Скажите, вам понравилось у нас в городе? — спросила Ниточка.

— Очень понравилось, — ответил Незнайка. — У вас тут машины разные, и кино, и театры, и магазины, и даже столовые. Все у вас есть!

— А у вас разве не так, как у нас?

— Куда там! — махнул Незнайка рукой. — У нас если захочешь яблочка, так надо сначала на дерево залезть; захочешь клубнички, так ее сперва надо вырастить; орешка захочешь — в лес надо идти. У вас просто: иди в столовую и ешь, чего душа пожелает, а у нас поработай сначала, а потом уж ешь.

— Но и мы ведь работаем, — возразила Ниточка. — Одни работают на полях, огородах, другие делают разные вещи на фабриках, а потом каждый берет в магазине, что ему надо.

— Так ведь вам помогают машины работать, — ответил Незнайка, — а у нас машин нет. И магазинов у нас нет. Вы живете все сообща, а у нас каждый домишко — сам по себе. Из-за этого получается большая путаница. В нашем доме, например, есть два механика, но ни одного портного. В другом каком-нибудь доме живут только портные, и ни одного механика. Если вам нужны, к примеру сказать, брюки, вы идете к портному, но портной не даст вам брюк даром, так как если начнет давать всем брюки даром...

— То сам скоро без брюк останется! — засмеялась Ниточка.

— Хуже! — махнул рукой Незнайка. — Он останется не только без брюк, но и без еды, потому что не может же он шить одежду и добывать еду в одно и то же время!

— Это, конечно, так,— согласилась Ниточка.

— Значит, вы должны дать портному за брюки, скажем, грушу,— продолжал Незнайка.— Но если портному не нужна груша, а нужен, к примеру сказать, стол, то вы должны пойти к столяру, дать ему грушу за то, что он сделает стол, а потом этот стол выменять у портного на брюки. Но столяр тоже может сказать, что ему не нужна груша, а нужен топор. Придется вам к кузнецу тащиться. Может случиться и так, что, когда вы придете к столяру с топором, он скажет, что топор ему уже не нужен, так как он достал его в другом месте. Вот и останетесь вы тогда с топором вместо штанов!

— Да, это действительно большая беда!— засмеялась Ниточка [4, с. 403].

Сам того не зная, Незнайка выступает здесь в роли знатока политической экономии — правда, в ее весьма специфической версии. Собственно, налицо описание обмена, однако (пока еще?) без конституирования *стоимости*, а следовательно, и без наличия *денег* (знание об этих вещах на Земле имеет место, но, как уже говорилось, в вытесненном виде — при этом осведомленность Знайки об этом «историческом факте» можно рассматривать в качестве функции «невозвращения вытесненного», или, проще говоря, цензуры). В самом деле, на первый взгляд, обмен стола на грушу это либо просто нелепый пример, либо свидетельство полного игнорирования объективного факта трудовых затрат — либо, наконец,

знак приверженности теории «субъективной ценности», когда груша и стол приравниваются благодаря равенству оценок их полезности для сторон, вступающих в сделку. Конечно, стихийная приверженность Незнайки постулатам «австрийской школы» (наиболее последовательно критиковавшей марксистскую политическую экономию с «субъективистских» позиций) это уж совсем экзотическая гипотеза. К тому же если вспомнить гигантские размеры груш в земном мире коротышек и, следовательно, принять в расчет гигантские же затраты сил на их сбор и доставку, то предвосхищение трудовой теории стоимости в словах Незнайки увидеть все-таки можно. А вот то, что в его описании жизнь Цветочного города выглядит, во-первых, радикально разобщенной, атомизированной («каждый домишко — сам по себе»), и, во-вторых, сообщение между живущими в этих домах совершенно спонтанно и ни в малейшей степени не рационализировано (все ведут себя так, как если бы каждый день заново знакомились и устанавливали контакты — и это при том, что создаются автомобили и воздушные шары, и наряду с «узкими специалистами» есть ведь еще и универсал Знайка!) — выглядит достаточно странно. Странно, если не сказать больше: Незнайка то ли клевещет на родную страну, то ли в беседе с представителем более продвинутой системы начинает преувеличивать несовершен-

ства своей и, отсюда, представлять ситуацию в комичном свете?

В любом случае, очевидно: экономика Цветочного года с ее развитой специализацией, достаточно большой численностью населения и относительно высоким техническим развитием изображена так, как если бы из нее были полностью изъяты как деньги (косвенное регулирование через механизм рынка и соизмерение стоимостей), так и планирование (прямое регулирование через некий центр принятия решений, располагающий полной информацией о ресурсах, потребностях, возможностях и т. п.). И здесь надо задать вопрос: что позитивного остается (или возникает) в такой системе, вопреки очевидным издержкам и проблемам (нерациональное распределение, потери времени — одним словом, неэффективность)?

Ответ на этот вопрос — слова Незнайки, которыми он отвечает на смех Ниточки по поводу «большой беды» избытка топоров при нехватке штанов:

— Беда не в этом, потому что из каждого положения найдется выход, — ответил Незнайка. — В крайнем случае, друзья не дадут вам пропасть и кто-нибудь подарит вам брюки или одолжит на время. Беда в том, что на этой почве у некоторых коротышек развивается страшная болезнь — жадность или скопидомство. Такой скопидом-коротышка тащит к себе домой все, что под руку

> попадется: что нужно, и даже то, что не нужно. У нас есть один такой малыш — Пончик [4, с. 403–404].

История со скопидомством Пончика уже упоминалась, и важно, что он остается верен своей жадности и после того, как жизнь в Цветочном городе будет радикально преобразована в ходе сотрудничества с коллегами из Солнечного города — то есть тогда, когда никакого рационального экономического смысла в ней больше не будет. Поэтому Пончик, можно сказать, негативным образом, «от противного», демонстрирует то позитивное, что видит Незнайка по ту сторону «рациональной организации хозяйственной деятельности» на Земле, о каком бы из ее городов ни шла речь — *дружеское общение, «дарообмен», взаимовыручка* (то, что антрополог-анархист Дэвид Гребер называет «базовым коммунизмом», лежащим в основе *всех* экономических систем, не исключая капитализм [см.: 32, с. 96–105]); Пончик просто блокирует эти процессы, и оттого Незнайка оценивает его действия как нездоровые (не потому ли именно Пончика Незнайка возьмет с собой на Луну — в целях перевоспитания, излечения?). Собственно, общение, не имеющее какой-то внешней себе цели, и есть то, что практикуют Незнайка и его друзья Пачкуля и Кнопочка в Солнечном городе; более того — Незнайка подвергает критическому ис-

пытанию все наличные *границы* (моральные, природные, исторические) того сообщества, в рамках которого он оказывается.

При этом исключительное значение имеет то, *как именно* Незнайка оказывается в Солнечном городе. Носов, на первый взгляд, прибегает здесь к совсем неоригинальному решению — Незнайка встречает волшебника, получает волшебную палочку и, смотри, все само собой пошло-поехало, для детей ведь, вот и элемент сказки (кстати, единственный во всем цикле!). Но это только на первый взгляд.

Ведь если вдуматься, то волшебная палочка по существу сосредоточивает в себе всю мощь наиболее передовой отрасли советской социальной науки — да-да, вы не ошиблись, речь о научном коммунизме. Вот в подтверждение цитата уже знакомого нам Ричарда Косолапова:

> ...Для перехода к социализму теперь, пожалуй, не обязателен даже минимум развития капитализма, который был необходим, например, для России. Отставание на одну-две формации многим народам [таковы, к примеру, жители Цветочного города.—*А. П.*] может возместить строгая последовательная ориентация на союз с государствами мировой социалистической системы. Международные отношения нового типа, практикуемые социалистическими странами, позволяют некоторым народам не воспроизводить целые системы внутренних эксплуататорских общественных

> отношений, которые уже пережиты и заменены в ряде стран отношениями товарищеского сотрудничества и взаимопомощи [38, с. 111].

Что и говорить, волшебная палочка «строгой последовательной ориентации» превратила Пончика из потенциального эксплуататора (ростовщика, арендодателя и т. п.) в комичного и несчастного жадину, «больного». С другой стороны, упомянуты «товарищеское сотрудничество» и «взаимопомощь», категории явно *этические*; но в какой мере они действительно адекватны «дискурсу знания», дискурсу Знайки?

Волшебная палочка, полученная Незнайкой, как раз и воплощает в себе эту разницу бесконечной технической мощи, как бы находящейся на одном из ее концов, и необходимой моральной состоятельности того, кто по факту держит ее за другой (не таковым ли окажется впоследствии и прибор невесомости?). При этом действие палочки подчиняется закону необходимого соответствия этих полюсов: как только желания субъекта обнаруживают в себе характер злой воли (три «плохих поступка», совершённые подряд), палочка приходит в негодность. И, конечно, на первый взгляд содержание «Незнайки в Солнечном городе» полностью подчиняется идее показать драму субъекта, наделенного (пусть и благодаря трем подряд совершённым добрым поступ-

кам, но все-таки — авансом) чудесной силой исполнять какие угодно свои желания, но при этом обделенного способностью во всех без исключения случаях следовать велению только благой воли. Неслучайно именно в этой части цикла Незнайка на собственном опыте узнает, что такое муки совести — выражаясь философским языком, он совершает переход от сознания к самосознанию. И все-таки, даже если сам Носов действительно полагал это главной «интригой», содержание книги этим явно не исчерпывается — субъективно переживаемое Незнайкой противоречие больших технических возможностей и низкой моральной ценности отражает объективный порядок существования, то есть ту форму жизни, которую путешественники наблюдают (и невольно тестируют) в Солнечном городе.

Сказанное на первой взгляд может представиться абсолютно произвольной интерпретацией, едва ли не противоречащей тому, о чем говорит сам текст. В самом деле, практически все свидетельствует не только о высочайшем уровне технического развития, но и о решительной добродетельности — не только физическом, но и моральном здоровье жителей Солнечного города (после нескольких страниц описания всевозможных моделей автотранспорта и необыкновенно изобретательной архитектуры Носов подчеркивает, что «дворов в Солнечном городе не было, то есть,

вернее сказать, они были, но между ними не было ни оград, ни заборов; ворота никогда не запирались, потому что и ворот-то никаких не было», благодаря чему «коротышки могли свободно переходить из одного двора в другие и играть с соседями в разные игры, что очень способствовало укреплению здоровья и развитию мускулов» [4, с. 269]... гм, ода свободе кончается накачкой мускулов!) — и только появление Незнайки порождает в его пределах доселе просто немыслимое зло. И все-таки следует настаивать, что это порождение выявляет нечто в жизни обитателей Солнечного города, что до сих пор успешно подавлялось (или — пребывало в совершенном забвении, что также означает форму наличия, а не отсутствия).

Как все помнят, ключевым событием, ставшим причиной целой цепи негативных последствий, было превращение коротышки Листика в осла — первое радикальное зло, совершённое Незнайкой с помощью волшебной палочки. Нет смысла оправдывать это деяние, но в то же время нужно указать на ряд важных деталей. Во-первых, обилие «нового» и «интересного» вокруг приводило к тому, что глазевший во все стороны Незнайка то и дело сталкивался с прохожими и оттого очень сердился — так сказать, «синдром мегаполиса». Во-вторых, столкнувшись с Листиком, Незнайка в какой-то мере столкнулся с самим со-

бой, как бы (с рядом поправок на разницу характеров, конечно!) своим *двойником* — судите сами, в первой же главе «Путешествия» Носов рассказывает о дружбе Незнайки с малышкой Кнопочкой, и эта дружба возникла из взаимной страсти к чтению (прежде всего сказок); но ведь у Листика также была подруга, Буковка, и, как говорит Носов, прославились они именно тем, что очень любили читать книги! Нет нужды напоминать, чем чревата встреча с двойником — конечно, именно тревогой, сигнализирующей о том, что ты, субъект, в своем бытии исходящий из веры в свою уникальность, открытость будущего и свободу, вдруг застаешь себя как бы без остатка вписанным в рамки уже полностью исполненного, а главное, отчужденного от тебя (и присвоенного кем-то другим!) существования! Ты, к примеру, баран, которого только что остригли (случайно ли то, что у волшебника, подарившего Незнайке палочку, были пряжки в форме полумесяца? не знак ли это «избирательного сродства» лунного капитализма и земного «развитого» социализма?) — или, к примеру, ты добрый, законопослушный коротышка-книгочей с подогнанной будто специально под тебя «спутницей жизни» (С Кнопочкой Незнайка хотя бы иногда ругается)*!

* История о путешествии в Солнечный город заканчивается тем, что Незнайка заявляет Кнопочке: «Ты, наверно, влюбилась в меня». В путешествие на Луну он отправит-

Наконец, в-третьих, желание Незнайки было во многом инспирировано движением означающего, ведь вначале он просто в силу исключительно автоматического следования всем нам привычному словоупотреблению называет Листика «ослом» (примерно так же, как у Гоголя Иван Никифорович Ивана Ивановича — гусаком). Но в области *абсолютного знания* не существует ничего, кроме буквального смысла и того, что прошло проверку доказательством. Вот почему когда Листик опровергает правильность номинации на том основании, что «осел это животное на четырех ножках с длинненькими ушами» (то есть выказывает полную невосприимчивость к метафоре), Незнайке — заметьте, в контексте тех правил игры, которые являются общепринятыми в «обществе знания»! — ничего другого не оставалось, кроме как продемонстрировать *истинность* озвученного суждения (благо палочка была под рукой).

Подытоживая: «нехороший поступок» (превращение Листика в осла) оказывается попыткой применить волшебную силу палоч-

ся с Пончиком — и, что интересно: тема общения с противоположным полом, да и сам этот пол практически полностью исчезнет (едва ли не единственный случай, когда Незнайка наймется выгуливать собак к госпоже Миноге, является исключением, подчеркивающим правило). Это поразительно: у нас, на Земле, секса конечно нет (зато есть любовь), у них же на Луне, при капитализме, нет ни того ни другого!

ки против случившегося уже ранее «благого» преобразования конфликтного и неуравновешенного Незнайки, «несознательного элемента», в существо всецело *идеальное* — такое, каким должен быть всякий с точки зрения «Большого Другого»: с точки зрения Того, Кто Знает — *знает, каким должен быть* коммунизм.

Но, конечно, настоящие события начинаются тогда, когда Незнайка, терзаемый угрызениями совести, стремится исправить свою «ошибку». Разумеется, попытка оказывается неудачной, и перед читателем начинает разворачиваться длинная цепь новых несчастий и, того и гляди, беспредельная эскалация зла полностью разрушит материализовавшуюся в Солнечном городе коммунистическую утопию. Однако, как и в других случаях, нельзя останавливаться на столь простом прочтении — будто бы дело только в нравоучительном «даже малое зло может привести к величайшим бедам»; те «глупости и гадости», которые Незнайка творит (кстати, уже не столько в силу своего чисто интеллектуального «невежества», сколько по причине крайней импульсивности своей натуры), у Носова играют роль *симптомов*, означающих фундаментальную проблематичность той модели общества, которая воплощена в жизни обитателей Солнечного города. (К тому же сама *совесть* отнюдь не исчерпывается тем или иным содержатель-

ным «моральным предписанием» — как показал Мартин Хайдеггер, в своем существе ее голос воплощает «зов бытия»: совесть осуществляет призыв *быть*, быть самому, «от первого лица», а не от лица каких-либо внешних «институций», «объективного устройства» природы и общества).

Как опять-таки все помнят, неудачная попытка вернуть Листика в исходное человеческое состояние оборачивается тем, что в коротышек один за другим превращаются три «изначальных», «подлинных» осла (один из которых к тому же еще и «более чем осёл», то есть мул) — Пегасик, Брыкун и Калигула, — в результате чего в Солнечном городе *возрождается* пресловутое «ветрогонство». Слово журналистам:

> Нам уже приходилось сообщать в нашей газете, как двое неизвестных прохожих завладели шлангом для поливки цветов и поливали из него пешеходов на улице. За вчерашний день произошло еще несколько таких же нелепых случаев. Один из облитых с ног до головы пешеходов простудился и заболел. В настоящее время он находится в больнице, где, по всей вероятности, ему придется пролежать несколько дней.
>
> Необходимо отметить, что случаи обливания холодной водой прохожих являются дикими, несообразными выходками, которые уже давно не наблюдались в нашем городе. Последний раз такой случай произошел несколько десятков лет на-

> зад. В те далекие от нас времена еще существовали коротышки, которым доставляло удовольствие делать неудовольствие другим коротышкам. Так, например, некоторым из них нравилось, подкравшись к кому-нибудь сзади, неожиданно ударить кулаком по спине или вылить кружку холодной воды на голову. Многие из них любили играть в пятнашки. Сбивая прохожих с ног, они носились по улицам шибче ветра, почему и получили название ветрогонов.
>
> В результате проведенных воспитательных мероприятий ветрогоны перестали существовать в нашем городе уже много лет назад. Остается невыясненным, являются ли обливавшиеся водой коротышки ветрогонами, уцелевшими от прошлых времен, или это какие-нибудь новые, неизвестно откуда появившиеся ветрогоны. Надо надеяться, что в будущем все это выяснится [4, с. 421–422].

Все узнаваемо здесь: под видом «информирования» новостная индустрия занимается своим извечным делом — истеризирует население, производит субъекта, чье желание отвлекается от позитивных целей и начинает управляться такой чисто отрицательной величиной, как «безопасность»: они (другие, чужие) опять среди нас, они всегда были среди нас! Мгновенно на этой почве возникают всякого рода «гражданские инициативы»; так, читатель цитированной газеты по фамилии Букашкин предлагает организовать общество наблюдения за порядком, которое было бы правомочно подвергать аресту провинившихся ветрогонов, другой же

ее читатель, по фамилии Таракашкин, вступает с ним в полемику и призывает милицию (которая давно уже занимается исключительно регулировкой уличного движения) вернуться к своим прямым обязанностям, не дожидаясь создания какого-то там «общества». Дискуссия набирает невиданные обороты, и, как отмечает Носов, «со статьями по этому вопросу выступили такие коротышки, как Гулькин, Мулькин, Промокашкин, Черепушкин, Кондрашкин, Чушкин, Тютелькин, Мурашкин, а также профессорша Мордочкина [4, с. 428].

К слову о милиции: на момент прибытия Незнайки уровень сознательности населения в Солнечном городе достиг такой высокой отметки, что нарушители порядка практически исчезли, и, как пишет Носов, милиционеры стали забывать о существовавших когда-то страшных наказаниях вроде сажания под арест (само слово «арест» было забыто, и никто теперь не знал, что оно значит). «Из всех наказаний, придуманных в прошлые времена,— сообщает Носов,— сохранились только нотации, то есть выговоры, которые милиционеры читали нарушителям правил уличного движения, главным образом автомобилистам» [4, с. 325]. Впрочем, такая «мягкость» служб правопорядка сочетается с мощной технической оснащенностью, прежде всего в области средств наблюдения — вот что застал Незнайка, попав в милицейское отделение:

> Здесь он увидел еще одного милиционера, который сидел на круглом вертящемся стуле перед пультом управления с разными выключателями, переключателями, рубильниками, микрофонами, телефонами и громкоговорителями. Над пультом в четыре ряда были помещены пятьдесят два шаровидных телевизионных экрана, на которых, как в зеркальных шарах, отражались пятьдесят два городских перекрестка вместе с домами, движущимися машииами, пешеходами и всем, что могло быть на улице [4, с. 320–321].

Налицо, таким образом, тот совершенно *паноптический* характер власти, который лежит в основе технологий управления жизнью современных обществ, как это показал Мишель Фуко в целом ряде своих работ — так что совершенно неслучайно, что жители Солнечного города в подавляющем большинстве представляют собой всецело рациональных «самоуправляемых» индивидов (их «сознательность» является функцией особого рода «технологии себя», или *биополитики*).

Удивительно, насколько блестяще удается Носову вскрыть всю проблематичность такого рода «сознательности», основанной во многом на вытесненном (не)желании встречи с тем, что на рациональном уровне представляется «несообразной дикостью»! На языке политической теории, речь идет о своего рода изначальной *вере* в то, что всякий правопорядок в конце концов имеет целью не допустить во-

царения в обществе чего-то вроде «войны всех против всех», состояния хаоса и анархии, поэтому всегда нужно быть готовым в том числе к крайней мере — введению *чрезвычайного положения*. Так, когда распространение «чумы ветрогонства» достигает критической отметки, фабрики мгновенно начинают выпускать прорезиненные «надувные» пальто и шляпы, предохраняющие от обливания, ударов и падений, а инженеры изобретают специальные приборы типа НУПРЛ, «новейшего усовершенствованного пешеходного радиолокатора» (аналогия с лунной УРДЭК, «усовершенствованной резиновой дубинкой с электрическим контактом», очевидна), который, как подчеркивает изобретатель, теперь каждый должен иметь для защиты от ветрогонов [4, с. 448] — оказавшись во власти последних, город спонтанно производит мероприятия, характерные для осадного положения.

Не менее показательна и реакция правоохранительных органов. К примеру, после того как милиционер Сапожкин в ходе задержания ветрогона Супчика был укушен последним за руку, он, придя в милицию,

> ...достал из шкафа хранившуюся там с незапамятных времен толстую книгу, в которой были записаны все старинные законы, и вычитал в ней, что за каждый удар по затылку в старину полагались одни суткн ареста, за синяк по глазом — трое су-

> ток и за укус руки — тоже трое. Решив применить этот древний закон, Сапожкин сказал Супчику, что он арестован за все преступления на семь суток, и отвел его в отдельную комнатку, которая имелась при каждом отделении милиции и называлась почему-то «холодильником». Происхождение этого названия было теперь уже никому не известно. Само название сохранилось, а вот от чего оно произошло — это, как говорится, затерялось во мраке прошлого» [4, с. 429–430].

Обратите внимание на это повторное подчеркивание факта «забвения»! Видимо, не такая уж это «окончательная фактичность», раз на нее надо указывать дважды — интенция «древних кар» сохранена и в любой момент может быть принята к сведению! (Кстати, нельзя забывать, что «Незнайка в Солнечном городе» писался в самом начале хрущевской оттепели, — это к вопросу о «древности» суровых мер.) Как здесь не вспомнить предложенную Беньямином и развитую впоследствии Агамбеном утопию такого будущего состояния человечества, где законы больше не будут применяться, но будут лишь изучаться? «Право, которое более не применяется, а только изучается, — вот это и есть врата справедливости» [15, с. 94], такова «загадочная формулировка» Беньямина, по поводу которой Агамбен замечает следующее:

> Трудность, с которой здесь сталкивается Беньямин, соответствует проблеме, которая может

> быть сформулирована (и действительно, впервые она была сформулирована в раннем христианстве, а затем в марксистской традиции) в следующих терминах: что происходит с законом после его мессианского исполнения? (Именно этот вопрос предлагает апостол Павел своим современникам-евреям.) И что происходит с правом в бесклассовом обществе? (Именно об этом спорили Вышинский и Пашуканис) [9, с. 99].

Все выглядит так, как если бы Носов предлагал в противовес сказанному — и на его фоне! — своеобразную ироническую антиутопию: да, конечно, когда-то право, возможно, будет лишь изучаться — а может, даже и изучаться не будет, просто храниться зачем-то в пыли шкафов — но все это лишь *до тех пор пока... до тех пор пока не будет обнаружена фиктивность «мессианского исполнения» и вновь наружу выйдет классовая борьба и все прочие «старые мерзости», как сказал бы Маркс*!

Характерно при этом, как описывает Носов «мучения» и «тоску» превращенных в «стиляг» и мгновенно ставших законодателями моды на все «ветрогонское» Пегасика, Брыкуна и Калигулы:

> Их все время одолевало желание опуститься на четвереньки и закричать по-ослиному, но какая-то внутренняя сила удерживала их от этого. В результате неудовлетворенного желания их начинала грызть тоска, белый свет становился не мил, и все время словно сосало под ложечкой, а от этого хо-

> телось выкинуть какую-нибудь скверную шутку, чтобы и у других на душе сделалось также нехорошо, как у них. Если бы Незнайка узнал об их мучениях, то поскорей превратил бы их обратно в ослов. Но он ничего об этом не знал [4, с. 424].

Важно уже то, что «скверные шутки» предстают здесь не эффектами злой натуры, но свидетельствами *неудовлетворенного желания*, причем сам факт этой неудовлетворенности «вчерашними ослами» бессознательно переживается как имеющий универсальное значение — как если бы их миссия состояла в том, чтобы сделать явной какую-то *всечеловеческую* тоску! Люди о ней, конечно, не знают и в большинстве случаев знать не хотят, но само это незнание (персонифицированное Незнайкой, этим неисправимым ослом и лунатиком) и есть, возможно, та «слабая мессианская сила», которая, согласно опять-таки Беньямину, непрерывно чешет историю против шерсти и свидетельствует против «окончательной и неизбежной» победы знания (и Знайки).

Знайка, конечно, в данной ситуации не может не претендовать на истину в последней инстанции — не беда, что его на тот момент не было в Солнечном городе, его функцию взял на себя (и, надо сказать, блестяще с этим справился) один местный (разумеется, научный, а не криминальный) авторитет. Итак, слово предоставляется профессору Козявкину (лау-

реату каких премий, Носов не сообщает, но вы можете догадаться сами):

> Однажды, гуляя по зоопарку, я увидел очень странное явление природы. На моих глазах осёл, который находился за решетчатой загородкой, неожиданно превратился в коротышку. Это удивительное явление так озадачило меня, что я на минуту остолбенел. Однако все, что произошло дальше, я прекрасно разглядел и запомнил. Так, например, я хорошо видел, что перед загородкой в это время стояли два малыша. Один был в желтых брюках, другой — в пестренькой (прибывший с Незнайкой коротышка Пачкуля, как вы помните, тоже был *Пестренький*; возможно, это случайное совпадение, а возможно, указание на некую общность; впрочем, на момент наблюдения коллега Козявкин данной информацией обладать в любом случае не мог. — *А. П.*) тюбетейке с узорами. Тот, который был в желтых брюках, держал в руках небольшую палочку. Этой палочкой он размахивал у осла перед носом, желая, должно быть, подразнить животное (браво, профессор! каким еще могло бы быть подлинно научное объяснение подобного рода действий и желаний! — *А. П.*). В ответ на это осёл, превратившись в коротышку, дал дразнившему такого щелчка, что бедняга отскочил в сторону. После этого бывший осёл перелез через ограду и погнался за обоими малышами, которые бросились от него удирать. Я побежал за ними вдогонку, чтобы произвести научное наблюдение над превратившимся в коротышку ослом, но по дороге потерял очки, без которых ничего не видел

(для читателей, не вполне посвященных в особенности ученого дискурса: было дано понять, что а) собранная информация, возможна, неполна, так что вывод будет носить сугубо предположительный характер; б) факт рассеянности и некоторой неловкости указывает, что перед нами настоящий ученый классического типа, стало быть, в любом случае заслуживающий доверия. — *А. П.*). Пока я разыскивал очки, оба малыша и преследовавший их бывший осёл успели скрыться, и мне больше не удалось их встретить. Однако я хорошо запомнил, что бывший осёл (частое повторение этого определения должно в дальнейшем «кристаллизоваться» в новую научную категорию, право авторства на которую будет принадлежать уважаемому профессору Козявкину! — *А. П.*) был одет в широкие зеленовато-желтые брюки и пиджак с узенькими рукавами, а на голове у него был пестрый берет с кисточкой.

Вернувшись домой, я начал обдумывать происшедший случай и пришел к выводу, что все это мне показалось (ссылка на очевидную невероятность события, конечно же, увеличивает масштаб будущего открытия. — *А. П.*). Но спустя несколько дней я начал встречать коротышек, которые были одеты точно так же, как виденный мной бывший осёл. Эти коротышки вскорости получили название ветрогонов. Они хулиганили на улицах, обижали прохожих, совершали разные дикие выходки и вообще не умели себя вести по-коротышечьи. Поэтому я пришел к выводу, что все эти коротышки вовсе не коротышки, а бывшие ослы, то есть ослы, превратившиеся в коротышек (вывод по аналогии допускается как

предварительная гипотеза, которая в дальнейшем подлежит строгой проверке. — *А. П.*).

Я не торопился сообщить в газету о своем научном открытии, потому что не мог объяснить, почему в городе появилось такое большое количество ветрогонов. Если допустить, что каждый ветрогон — это бывший осёл, то становится непонятным, откуда у нас взялось столько ослов. Насколько мне было известно, ослы у нас имелись только в зоопарке. Обратившись к сотрудникам зоопарка, я узнал, что в зоопарке было всего три осла, да и те куда-то исчезли. Таинственное исчезновение трех ослов подтверждало мою научную догадку о том, что эти ослы превратились в ветрогонов, однако это не могло объяснить, откуда взялись все остальные ветрогоны (все в строжайшем соответствии с логикой научного знания, прямо по Карлу Попперу: гипотеза сформулирована так, чтобы ее можно было подвергнуть фальсификации в случае появления фактов, которые бы ей противоречили. — *А. П.*).

Несколько дней подряд я ломал голову и безуспешно пытался найти ответ на этот вопрос. В конце концов в этом деле помог мне случай [опять по Попперу: случай замечается и принимается к сведению не сам по себе — ведь случаев бесчисленное количество, — но только в свете выдвинутой ранее гипотезы, в рамках которой заранее дано место возможным контраргументам. — *А. П.*]. В доме, где я живу, по соседству с моей квартирой живет коротышка, по имени Чубчик. Этого Чубчика я хорошо знаю и даже лично знаком с ним. Он всегда был примерным малы-

шом, никогда не шалил, никому не грубил и вообще ничего плохого не делал. Представьте себе мое удивление, когда я узнал, что Чубчик стал ветрогоном. Нарядившись в широкие желто-зеленые брюки и пиджак с узкими рукавами, он принялся хулиганить и безобразничать на улице, так что никому не давал прохода. Если бы я лично не знал Чубчика, то мог бы подумать, что ветрогоном может стать только такое животное, как осёл, но теперь для меня стало ясно, что ветрогоном может сделаться и обычный, простой коротышка (исходная гипотеза уточняется, так как появились факты, однозначно не вписывающиеся в ту ее формулировку, которая была изначально предложена. — *А. П.*).

Продолжая свои научные наблюдения, я убедился, что ветрогоны бывают двух сортов. Ветрогоны первого сорта, или дикие ветрогоны, — это те, которые произошли от ослов. Ветрогоны второго сорта, или домашние ветрогоны, — это те, которые произошли от простых коротышек. Дикие ветрогоны — существа глупые от природы, на них не действуют никакие воспитательные мероприятия, поэтому, сколько их ни учи, они так ветрогонами и останутся. Домашние ветрогоны — существа более осмысленные, но у них очень мягкий характер, поэтому они легко перенимают как плохое, так и хорошее. Поскольку на диких ветрогонов воспитательные меры не действуют, их необходимо превратить обратно в ослов; тогда домашние ветрогоны не будут иметь перед глазами плохих примеров и снова станут хорошими коротышками. И тогда в городе опять восстановится нормальная

> жизнь. Никто не станет ни бить нас, ни толкать, ни кусать, ни обливать водой и так далее. В театре перестанут выворачивать все шиворот-навыворот и мазать скамейки смолой. На концерты можно будет ходить, не опасаясь вместо музыки услышать поросячий визг, собачий лай и лягушиное кваканье. В общем, все станет хорошо. А сейчас не будем предаваться унынию и пожелаем, чтобы наша наука нашла поскорей способ превращать диких ветрогонов в ослов» [4, с. 439–442].

Самое замечательное в этом рассуждении, конечно, это переход от чисто исследовательского, теоретического рассмотрения к рекомендациям сугубо практического характера — от социозоопсихологии к тому, что сегодня принято называть *биополитикой*. Разве можно не приветствовать, когда ученый одновременно выступает и как гражданин, когда интерес к истине неразрывно связан с заинтересованностью в общем благе? Знание — сила, и замечательно, когда эта сила поставлена на службу добродетели! Достаточно выделить в отдельную группу тех немногих, кто по самой природе своей должен быть подвергнут принудительной «ослизации» (или естественному «обараниванию»), как все остальные сразу же превратятся «обратно» в добропорядочных коротышек — или автоматически, или посредством применения мер исключительно воспитательного характера (тем более что земная медицина и без того неразрывно связана с воспитательной функци-

ей — вспомните, как в первой части трилогии вальсирующие Пилюлькин и Медуница обсуждают достоинства и недостатки различных дезинфицирующих веществ, и Пилюлькин, отстаивая свой тезис о предпочтительности йода перед медом, заявляет о «большом воспитательном значении» первого! [4, с. 176–177]). «Коротышкам — город, ослам — зоопарк», разве это не бесспорная истина?

«Ослы должны оставаться ослами» (экстремизм самой природы, натурализация бессознательного!) — вот каково условие возможности предложенной версии коммунизма. Но разве такой «коммунизм» не оказывается в итоге тождественным капитализму, разве ослы — не те же бараны (производству шерсти в обществе дефицита соответствует организация зрелища в обществе изобилия)? И если Солнечный город это позитивно-научная истина города Цветочного, то разве Дурацкий остров — не истина второго порядка, истина самой этой истины, *возвращение вытесненного*, которых достигает Незнайка в движении своей экзистенции? Ведь на Дурацком острове обнаруживается, что «большой круг изобилия» (наличного на Земле и симулированного в этом парке аттракционов) это лишь дурная бесконечность «малого круга дефицита», ведь и там и там человек всего лишь «винтик-шпунтик», то есть потенциальный отброс, абсолютно заменимый элемент. Дурацкий остров, таким об-

разом — истина земного «коммунизма»: есть кто-то другой, *стригущий купоны*!

И вот Незнайка самим способом своего бытия как нельзя лучше выражает ту подлинную сущность коммунизма, в соответствии с которой он есть, как гласит знаменитое определение из «Немецкой идеологии», «не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*, с которым должна сообразоваться действительность», но то «*действительное* движение, которое уничтожает теперешнее состояние» [58, с. 34]. Истина, говорит Хайдеггер, это изначально «А-летейя», сила, сопротивляющаяся забвению — то, что не дает чему-то или кому-то исчезнуть из виду, «кануть в Лету»; но ведь Лета, как показал Джамбаттиста Вико, это мифическое имя, указывающее на область захоронения тех «беззаконных и скотских людей», кто не оставляет никакого своего имени потомству и кто поэтому не имеет шанса войти в историю [23, с. 311–312]. Дурацкий остров и есть такая машина продуктивного беспамятства* («Карусель потребления-раз-

* В романе Брюса Стерлинга «Священное пламя» описывается санаторий, где платежеспособные клиенты имеют возможность временно «расчеловечиться», чтобы отдохнуть от своего человеческого состояния; на Луне вполне можно представить себе экскурсионные поездки богатых на Дурацкий остров (в то время как средний класс может позволить себе лишь «газеты для дураков», но не дорогостоящую услугу одурачивания с последующим раздурачиванием).

влечения — карусель забвения, вращающаяся по орбите влечение—наслаждение—повторение, подготовляя переход их в животное состояние» [56, с. 30]*) — а истина коммунизма есть памятование всех тех и всего того, что выносится за скобки его «научной» формулой. Поэтому слова Незнайки, обращенные к ставшему на четвереньки и начавшему блеять другу: «Козлик, миленький, не надо!» следует читать как «Я знаю что такое быть бараном! Я уже однажды *был* им!». И даже если бы Знайка не успел со спасением Незнайки, мы бы уже все равно знали, что такое коммунизм: друже-

* Уже в конце работы над этим текстом замечательный петербургский филолог Дарья Фарафонова указала мне на описание путешествия на Луну в «Неистовом Роланде» Ариосто (за что я и выражаю ей здесь свою огромную благодарность); «Лунный дол земных потерь» — вот что открывается в этом путешествии Астольфу:

«И ведет его святой апостол
В узкий дол меж двух крутых гор —
Диво! —
Где отвсюду собрано в одно
Все, что теряно нами в нашем свете,
От беды ли, от давности ли, от глупости ли.
<...>
Здесь влюбленные стоны и слезы,
Время, праздно траченное в игре,
Лень глупцов,
Тщетные и несбыточные умыслы,
А уж вздорные желания и мечты
Громоздятся горами по всей долине:
Словом, все,
Что внизу терялось, вверху отыщется». [Цит. по: 11, с. 181].

ское общение коротышек, а не коммерческое сосуществование баранов*.

* Слово «коммерция», изначально означающее как раз общение — в смысле «Verkehr» раннего Маркса (см. его письмо П. В. Анненкову от 28 декабря 1846 года), — указывает на первичность коммунизма в отношении капитализма: правда, память о первом стремительно исчезает в рамках второго — как след от стакана в «Зеркале» Андрея Тарковского.



УСТРО-КОНЕЦ
УРА
ПОМНИ ЧЕМ УВАЖАЕМ!!
ЛЕВЫМ, ЛЕВЫМ, ЛЕВЫМ, ЛЕВЫМ!
КОМУ НА ЛУНЕ ХОРОШО?
БАЗИС И НАДСТРОЙКА
СТЫД И СОВЕСТЬ

ГЛАВА 10

«ТЫ, НЕЗНАЙКА, КАКОЙ-ТО ОСЁЛ!», ИЛИ В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСТИНА КОММУНИЗМА?

Толкование Луны как места «очищения душ» в трактате Плутарха.— Цикл о Незнайке как профанация «священной истории».— Философский, юридический и политический смысл профанации.— Солнце и солнышко.— «Еще более внутренняя Луна» и «трущобный натурализм» Незнайки.— Земля как пересадочная станция.

ЕСТЬ один загадочный фрагмент Гераклита, о котором упоминается в конце трактата Плутарха «О лике, видимом на диске Луны»; это место заслуживает того, чтобы процитировать его здесь целиком:

...Всякой душе, имеющей ум или лишенной ума, суждено по выходе из тела блуждать в области между Землей и Луной, но не одинаковое время. Неправедные и невоздержанные души отбывают наказание за неправды, а праведные должны пребывать некоторое положенное время в наиболее мягкой части воздуха, которую называют «лугами Аида», сколько нужно для очищения и отвеяния — как дурного запаха — связанных с телом скверн. Затем, как бы возвращенные из изгнания в отечество, они вкушают такую же радость, как посвящаемые

> в таинства, испытывающие страх и смущение в соединении с надеждой. Ибо многие, уже достигающие Луны, души та отбрасывает и стряхивает; они видят как некоторые души на Луне разворачиваются, словно погружаясь обратно в глубину. [Души], оказавшиеся наверху и прочно размещенные, во-первых, как победители, расхаживают кругом, украшенные венками из перьев, называемых «перьями стойкости», потому что они при жизни упорядочили неразумное и страстное начала души и заставили их вполне слушаться разума. Во-вторых, видом они подобны лучу, а природой, которая там наверху легка, как и здесь у нас, подобны эфиру вокруг Луны. От него они приобретают напряженность [τόνον] и силу, как острые орудия обретают закалку. Ибо то, что дотоле было в них еще рыхлым и размытым, укрепляется и становится твердым и прозрачным. Впоследствии они питаются любым испарением, и Гераклит верно выразился, что «души в Аиде обоняют» [71, с. 165–166].

Неслучайно Плутарх сравнивает очистительную процедуру, происходящую на Луне, с посвящением в таинства — ведь сами эти земные мистерии были призваны отражать мистическую сущность космического процесса. Луна здесь — своего рода пересадочная станция, в буквальном смысле интересное (inter-esse, «бытие-между») место, место, где душам удается или не удается реализовать свой единственно подлинный интерес — сбросить с себя тяжесть и мерзость земного материального мира и вернуться на родину — в солнечный

мир духа, пронизанный светом ума. Очевидно, что вся эта картина написана как раз с точки зрения разума — именно он является высшим судьей, решающим, какой из душ удалось в предыдущей жизни «вразумить» свои страсти, а какой — нет (с историко-философской точки зрения очевидно, что за этой концепцией стоит синтез платонизма и стоицизма). Что важно здесь подчеркнуть, так это мистериальное, культовое происхождение разума, его сакральный (исключительный и исключающий из мира) характер. Да, это именно то самое «ученое незнание», о котором позже создаст теорию Николай Кузанский — но ясно также, что это «не-» будет разуметься по преимуществу в значении чего-то сакрального, что выражается приставкой «сверх-»: «ученое незнание» есть не что иное, как *сверхзнание*. Незнайка же на этом фоне будет, конечно же, силой *профанации* — тем, кто «незаконно» присваивает и вольно практикует незнание, всячески нарушая строй «небесной иерархии». Его-то Луна «отбросит и стряхнет»: ваше «солнышко» — пещерный симулякр, а не истинное Солнце!

Таким образом, можно сказать в порядке заключения, что сама трилогия Носова о Незнайке выступает как последовательно осуществляемая *профанация* «священной истории», вариацией на тему которой была как только что приведенная цитата из Плутарха, так и многочисленные «официальные версии» (партий-

ные и псевдобеспартийные) естественной и социальной науки. Профанация же здесь понимается в том значении, которое изначально вкладывалось в это понятие римскими юристами и о котором сегодня напоминает Агамбен: «Профанное,— как пишет великий юрист Требаций, — говорится именно в том смысле, что из священного или религиозного, которым было, оно возвращено в пользование и собственность людей» [7, с. 78]. У Плутарха линии профанного соответствует, конечно, отторжение Луной «неправедных душ» и их возвращение на Землю, то есть — новый цикл изгнания; негативность этого движения подчеркивается аффектом страха, который соединен с надеждой — «прочное размещение» лучших душ на «верхней» Луне сопровождается «поворотом от ворот» для душ, не достигших совершенства. И если первым предстоит целиком превратиться в обоняние, то вторым — придется вновь затыкать носы, оттого что на Земле, по свидетельству Гоголя, «вонь страшная». (Гоголевский Поприщин в своем царственном «сумасшествии» здесь буквально воспроизводит то, что говорит о Земле в лунной перспективе Плутарх: если Луна есть тело «мягкое и влажное» [71, с. 160], то Земля — это «отстой и подонки [ἰλύν] вселенной, что мутно просвечивает сквозь влагу, туманы и облака, как неосвещенное, низинное и неподвижное место» [71, с. 161–162]. Кстати, хотя сам Поприщин

явно испытывает священный трепет, тревогу за судьбу Луны и носов наших, его изображение у Гоголя имеет смысл сугубо профанный*: во-первых, он не король, а сумасшедший, вообразивший себя королем; во-вторых, он верит отнюдь не во всесилие божественного и космического закона, но скорее в могущество некоего «злокозненного гения», персонифицированного в данном случае «не имеющим понятия о Луне» хромым гамбургским бочаром; в-третьих, его призыв «спасти Луну» обращен к силам человеческим, а не сверхчеловеческим!).

Профанация, рассмотренная с сакральной точки зрения, представляется, конечно, процессом сугубо деструктивным и регрессивным (именно таков Незнайка с точки зрения Знайки: его нужно вначале как следует проучить, и только после того простить — космическую одиссею Незнайки он расценивает исключительно как наказание за неразумное своеволие); но, рассмотренная «для себя», она предстает уже чем-то гораздо более сложным и в определенном смысле продуктивным — чем-то типа *деконструкции* (например, «научно-коммунистической» картины мира). Ведь если для «диаматчика» Знайки лунный капи-

* О том, что, к примеру, гоголевский «Нос» представляет собой профанацию религиозного сюжета («травестию евхаристии, а точнее, всего евангельского сюжета о Воплощении») [см.: 20, с. 164–185].

тализм — это лишь «отрицательная тенденция» внутри коммунизма, которую просто нужно держать под контролем, то для Незнайки в этом «моменте» содержится целая *эпоха* — возможность радикального *приключения*, и если эта возможность оказывается чем-то заранее исключенным — «то извините, братцы, я не играю...». Картина, рисуемая Плутархом, вполне бы устроила Знайку — в качестве принадлежащего далекому прошлому «фантастического» изображения реальности, которую только теперь научились адекватным образом отражать в научной форме. В самом деле, у Плутарха жители Луны (если они есть, конечно), глядя на Землю, удивляются, что там тоже может быть какая-то жизнь — и поэтому настоящей Землей они считают свою Луну, где все гораздо более разумно устроено; да, ответил бы Знайка, все именно так и есть, с той только разницей, что ныне Земля это и *есть* нарисованная Плутархом Луна — уже не космический отстой (он сохранился разве что в ослиных мозгах Незнайки да скопидомстве Пончика, место которых, как правильно подсказывает коллега Козявкин — в зоопарке), но прочно организованная и прогрессивно развивающаяся (растущая к Солнцу, о чем говорят сами названия Цветочного и Солнечного городов) жизнь.

Незнайка же изначально пробивается к *совсем другому* Солнцу. Говоря точнее, его путь направлен к *Солнышку* — ведь именно его не-

хватку Незнайка начинает испытывать сразу, как только на Луну со спасительной миссией пребывает Знайка (который, конечно же, сразу *превращает его в осла*: «Ты, Незнайка, какой-то осёл! — ответил с насмешкой Знайка.— Ну какое тут солнышко, когда мы на Луне или, вернее сказать, в Луне» [5, с. 522]). Причем для Незнайки это буквально вопрос жизни и смерти, что в высшей степени символично, поскольку резюмирует весь смысл его собственной космической миссии. Следует напомнить, что лунная тоска по Солнышку явным образом отсылает, во-первых, к «первосцене», описанной Носовым в самом начале цикла (эпизод с майским жуком, которого Незнайка «фантазийно» идентифицирует как «оторвавшийся от Солнца кусок»), а во-вторых, к финалу «Незнайки в Солнечном городе», когда Незнайка второй раз встречает волшебника и сетует на то, что волшебная палочка потеряла силу; бывший при этом Пестренький утешает готового заплакать друга: «Ты не плачь, Незнайка. Ведь и без волшебной палочки можно прекрасно жить. Что нам палочка, светило бы солнышко!» — на что волшебник, смеясь, отвечает (совсем в манере Сократа):

— Ах ты, мой милый, как же ты это хорошо сказал! Ведь и правда, оно хорошее, наше солнышко, доброе. Оно всем одинаково светит: тому, у кого есть что-нибудь, и тому, у кого — совсем ничего

> (сказано, между прочим, на коммунистической Земле! — *А. П.*); у кого есть волшебная палочка и у кого ее нет. От солнышка нам и светло, и тепло, и на душе радостно. А без солнышка не было бы ни цветов, ни деревьев, ни голубого неба, ни травки зеленой, да и нас с вами не было бы. Солнышко нас и накормит, и напоит, и обогреет, и высушит. Каждая травинка и та тянется к солнцу. От него вся жизнь на земле. Так зачем нам печалиться, когда светит солнышко? Разве не так? [4, с. 481].

Волшебная палочка (как и ее относительно более «взрослые» версии: прибор невесомости и ракета) здесь предстает как бы «последним искушением» Незнайки — искушением знанием, разумеется; и только преодолевая его, он открывает для себя истинное — истинно коммунистическое! — Солнышко: не иерархически распределяемое «в меру причастности», но абсолютно «унивокальное», равно дарящее себя всем без разбору. И, как подлинный диалектик, к этому солнышку Незнайка приходит путем «отрицания отрицания», ведь внутри Луны (первое отрицание, отрицание внешней, поверхностной очевидности) он обнаруживает другую, *еще более внутреннюю* «Луну» (второе отрицание, являющееся отрицанием первого), о чем свидетельствует весь «трущобный натурализм» (по выражению Михаила Бахтина) его приключений — каталажка, подземные этажи гостиницы «Тупичок», деревня Нееловка, не говоря уж об обществе «вольных крутильщи-

ков», которое откроет для себя Пончик, и, наконец, сообщество «беспорточных безработных», приютивших и обогревших (вот где Солнышко!) Скуперфильда. И если прощание с Солнечным городом было ознаменовано обретением «солнечных братьев», то только на Луне этот красивый обычай наполняется конкретно-историческим содержанием — Незнайка обретает друга в Козлике еще до того, как тот превратится в осла или барана, или даже в рассудительного и законопослушного Листика. Луна, Солнце, Земля выстраиваются в один ряд и становятся абсолютными синонимами друг друга — только об их разлучении и тоскует Незнайка всякий раз, когда финальную точку в истории претендует поставить очередной полномочный представитель (научного, дискурсивного) знания. Но: знающий и незнающий, как следует из Плутарха, имеют «неодинаковое время».

Поэтому и Земля для Незнайки это не стартовая площадка или конечный пункт прибытия, а, как и Луна, только пересадочная станция, лишь с первого взгляда сугубо консервативный элемент («Земля моя, матушка! Никогда не забуду тебя!» — шепчет он по возвращении) *радикального приключения*:

> Наконец он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную Землю.

— Ну вот, братцы, и все! — весело закричал он. — А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие!

Вот какой коротышка был этот Незнайка [5, с. 542].

Что здесь можно добавить — сегодня, когда вчерашние «научные коммунисты» лихо перестроились в консервативных «политтехнологов», вчерашние «истматчики» — в строителей «гражданского общества» (по заказу свыше, разумеется), а вчерашние «диаматчики» — в «когнитивистов» или бог знает еще кого? Только одно:

В добрый путь, дорогой наш товарищ! Наш путь — путь коммунизма!

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Носов Н. Н.* Незнайка на Луне. М.: Эксмо, 2015.
2. *Носов Н. Н.* Незнайка в Солнечном городе. М.: Эксмо, 2015.
3. *Носов Н. Н.* Приключения Незнайки и его друзей. М.: Эксмо, 2015. С. 183.
4. *Носов Н. Н.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Детская литература, 1969.
5. *Носов Н. Н.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М.: Детская литература, 1969.

6. *Агамбен Д.* Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008.
7. *Агамбен Д.* Профанации. М.: Гилея, 2014.
8. *Агамбен Д.* Что современно? Киев: Дух і Літера, 2012.
9. *Агамбен Д.* Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011.
10. *Агамбен Д.* Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012.
11. *Ариосто Л.* Неистовый Роланд. Песни XXVI — XLVI / Перевод свободным стихом М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1993.
12. *Аристотель.* Поэтика Соч. в 4-х т. / пер. М. Л. Гаспарова. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
13. *Барт Р.* Сад, Фурье, Лойола. М.: Праксис, 2007.
14. *Беньямин В.* О понятии истории // *Беньямин В.* Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.
15. *Беньямин В.* Франц Кафка. М.: Ad Marginem, 2000.
16. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
17. *Бренер А., Шурц Б.* Апокалипсис вчера, сегодня, завтра: заметки о литературе киберпанка // Критическая масса. 2003. № 3.

18. *Булгаков С.Н.* Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философия хозяйства. Трагедия философии. М.: Наука, 1993.
19. *Булгаков С.Н.* Философия имени. СПб.: Наука, 1998.
20. *Вайскопф М.* Нос в Казанском соборе: о генезисе религиозной темы у Гоголя // Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
21. *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расш. М.: РГГУ, 2002.
22. *Ван Гог В.* Письма: в 2 т. Т. 1. М.: ТЕРРА, 1994.
23. *Вико Д.* Основания новой науки об общей природе наций. М.: REFL-book; Киев: ИСА, 1994.
24. *Вирилио П.* Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: Прагматика культуры, 2002.
25. *Вирно П.* Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
26. *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.). Формирование научных программ нового времени. М.: Наука, 1987.
27. *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М.: Мысль, 1975.
28. *Гете И.В.* Фауст. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2 / пер. Б. Пастернака. М.: Художественная литература, 1976.
29. *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1952.
30. *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1952.
31. *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1952.
32. *Гребер Д.* Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
33. *Загидуллина М.* Время колокольчиков, или «Ревизор» в «Незнайке» // Веселые человечки: Культурные герои советского детства: сб. статей / сост. и ред. И. Кукулин, М. Липовецкий, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
34. *Жижек С.* Устройство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа, 2008.
35. *Кант И.* О вулканах на Луне // Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994.

36. *Кац Р. С.* История советской фантастики. 3-е изд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.
37. *Кожев А.* Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003.
38. *Косолапов Р. И.* Социализм: К вопросам теории. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 1979.
39. *Кукулин И.* Игра в сатиру, или Невероятные приключения безработных мексиканцев на Луне // Веселые человечки: Культурные герои советского детства: сб. статей / сост. и ред. И. Кукулин, М. Липовецкий, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
40. *Курий С.* Приключения Незнайки в СССР и СНГ // Твое Время. № 2–3. 2003.
41. *Лакан Ж.* Варианты образцового лечения // Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.
42. *Лакан Ж.* Ещё. Семинары. Книга 20. М.: Гнозис/Логос, 2011.
43. *Лакан Ж.* Изнанка психоанализа. Семинары. Книга 17. М.: Гнозис/Логос, 2008.
44. *Лакан Ж.* Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда // Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.
45. *Лакан Ж.* Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда // Лакан Ж. Инстанция буквы, или Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.
46. *Лакан Ж.* Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1998.
47. *Лакан Ж.* Телевидение. М.: Гнозис, 2000.
48. *Лакан Ж.* Тревога. Семинары: Книга X (1962/63). М.: Гнозис/Логос, 2010.
49. *Лакан Ж.* Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995.
50. *Лакан Ж.* Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. Книга XI. М.: Гнознс/Логос, 2004.
51. *Лафарг П.* Право на лень. Религия капитала. М.: Либроком, 2012.

52. *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998.
53. *Лосев А. Ф.* Бытие — имя — космос. М.: Мысль, 1993.
54. *Магун А. В.* Res publica sive nullius // Неприкосновенный запас. 2008. № 1 (57).
55. *Мазин В.* Лакан и космос // Лакан и космос. СПб.: Алетейя, 2006.
56. *Мазин В.* Не с Луны свалился я // Кабинет III. Картины мира V. СПб.: Скифия-принт, 2014.
57. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Кн. I. Процесс производства капитала. М.: Политиздат, 1988.
58. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955.
59. Мир в войне: победители/побежденные. 11 сентября 2001 глазами французских интеллектуалов. Специальный номер журнала «Линии». М.: Прагматика культуры, 2003.
60. *Николай Кузанский.* Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1979.
61. *Николай Кузанский.* Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1980.
62. *Платон.* Государство. Собр. соч. в 4-х т. / пер. А. Н. Егунова. Т. 3. М.: Мысль, 1994.
63. *Платон.* Парменид. Собр. соч. в 4-х т. / пер. Н. Н. Томасова. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
64. *Платон.* Софист. Собр. соч. в 4-х т. / пер. С. А. Ананьина. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
65. *Платон.* Теэтет. Собр. соч. в 4-х т. / пер. Т. В. Васильевой. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
66. *Поланьи К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.
67. *Сартр Ж.-П.* Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
68. *Слотердайк П.* Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.
69. *Тимофеева О.* Негативное животное // Стасис. 2013. № 1.
70. *Фейерабенд П.* Наука в свободном обществе. М.: АСТ, 2010.
71. Философия природы в античности и в средние века /

под общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. Петрова. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
72. *Фрейд З.* Анализ фобии пятилетнего мальчика // Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.
73. *Фрейд З.* Влечения и их судьбы // Психология бессознательного. М.: «Фирма СТД», 2006.
74. *Фрейд З.* Отрицанне // Психология бессознательного. М.: Фирма СТД, 2006.
75. *Фрейд З.* Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.
76. *Хайдеггер М.* Введение в метафизику. СПб.: НОУ — ВРФШ, 1997.
77. *Хоркхаймер М., Адорно Т.* Диалектика просвещения. М., СПб.: Ювента, 1997.
78. *Шекспир У.* Сон в летнюю ночь / пер. Т. Щепкиной-Куперник // *Шекспир У.* Полное собрание сочинений. Т. 3. М.: Искусство, 1958.

79. *Genovesi A.* Lezioni di economia civile. Intr. di L. Bruni e S. Zamagni. Milano: Vita e pensiero, 2013.
80. *Lacan J.* Le séminaire. Livre XVI. D'un Autre à l'autre. P.: Seuil, 2006.
81. *Lacan J.* Le séminaire. Livre XVIII. D'un discours qui ne serait pas du semblant. P.: Seuil, 2006.
82. *Lyotard J.-F.* Discours, Figure. P.: Klincksieck, 1971.
83. *Mazin V.* The meaning of money: Russia, the Ruble, the Dollar and Psychoanalysis // Loaded Subjects: Psychoanalysis, Money and The Global Financial Crisis. Edited by David Bennett. L.: Lawrence & Wishart, 2012. P. 148–168.
84. *Roudinesco E.* Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un systeme de pensée. P.: Fayard, 1993.
85. *Stiegler B.* Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, de la pharmacologie. P.: Flammarion, 2010.
86. *Stiegler B.* États de choc — Bêtise et savoir au XXIe siècle. P.: Mille et une nuits, 2012.
87. *Stiegler B.* "Pharmacology of Desire: Drive-Based Capitalism and Libidinal Dis-economy" // Loaded Subjects: Psychoanalysis, Money and The Global Financial Crisis. Edited by David Bennett. L.: Lawrence & Wishart, 2012.

88. *Stiegler B.* Pour une nouvelle critique de l'économie politique. P.: Galilée, 2009.
89. *Žižek S.* Did somebody say Totalitarianism? L., N.Y.: Verso, 2001.
90. *Žižek S.* Event. L.: Penguin Books, 2014.
91. *Zizek S.* Violence. N.Y.: Picador, 2008.

Научное издание

Виктор Аронович Мазин
Александр Анатольевич Погребняк
НЕЗНАЙКА И КОСМОС КАПИТАЛИЗМА

Главный редактор издательства Валерий Анашвили
Научный редактор издательства Артем Смирнов
Выпускающий редактор Елена Попова
Редактор, корректор Ольга Черкасова
Дизайн серии, верстка Сергея Зиновьева

Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3–5, стр. 1

Подписано в печать 15.08.16. Тираж 500 экз. Заказ 3957.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Психоаналитик Виктор Мазин, философ Александр Погребняк и художница Ирена Куксенайте решили публично признаться в своей страсти к циклу о Незнайке замечательного и далеко не только детского писателя Николая Носова. На этот шаг их толкнуло твердое убеждение, что в образе Незнайки, его интеллектуальной контркомпетентности и моральной антисостоятельности заключен ресурс, столь необходимый всем нам сегодня для выживания в космосе, подчиненном логике современного капитализма, — а уже завтра, возможно, он окажется полезен и для изживания этой чудовищной проекции технонауки и административно-менеджериального безумия! Читателю предлагается вновь совершить захватывающие и поучительные путешествия в Солнечный город и на Луну, занимаясь попутно психоанализом, философией, критикой политической экономии и другими жизненно важными практиками осмысления реалий сегодняшней российской и мировой действительности.